

Однажды Алексей увидел во сне родину. Неясно, как на туманной картинке: сначала проступил Амур, а после по-над берегом дом с садом. Проснулся он, а на душе — как в вербное воскресенье: легко и даже вроде плакать хочется, так слезы на глаза и навернулись. Он потихоньку вытер их и огляделся. Рассвет лишь брезжил, и все спали, только Илья уже проснулся и, стоя у окна, вдевал нитку в иголку.

— Шей да пори, не будет свободной поры, — приветствовал его тихонько Алексей. — Возьми мою иголку, — вскочил и сунул руку под подушку: там у него лежало все добро. — У моей ушко больше, тебе ловчее будет.

— Ты что такой-то? — взял Илья иголку. — Что сияешь?

— Сон увидал хороший, — лег снова Алексей на нары: в последний месяц стал он сильно уставать, все что-то обмирает, словно птичка. — Вроде Амур приснился, дом, сад наш...

В бараке просыпались; гул голосов, чиханье, топот заглушили голос деда. Он замолчал, закрыл глаза. Сквозь веки пробивалось солнце. Солнце видит землю только теплой и доброй, вспомнил Алексей. А хорошо, наверное, землей быть: сейчас на ней уже пошли в рост травы, и бегают по ним кузнечики, жуки...

— Заснул опять, — взглянул Илья на Алексея. — Помрет старик наш скоро.

— Что так? — прыгнул с верхних нар Петрович.

— А у него в глазах уж небо стало появляться. У наших стариков (Илья по матери был из тунгусов) такие же глаза бывают перед смертью. Все в них отжило, стихло, и только синева одна осталась. А это верная примета: ему стал тесен малый мир, и он уже в большой собрался, к верхним людям.

— А может, и помру, — охотно согласился Алексей. — Мне семьдесят уже... или шестьдесят девять? Петрович, у нас какой год нынче?

— Тысяча девятьсот сорок седьмой.

Алексей принялся считать:

— Мне было шестьдесят, как посадили, я десять лет сижу... выходит, все же семьдесят.

Прожито, что пролито — не воротишь. Вчера в обед пролил он миску супа. Шел с ней к столу, вдруг ноги подкосились, он упал: был суп, и нету. Был суп с крупой... и нету. Горячий был еще, а не воротишь.

Дверь загремела, заскрипела и открылась:

— Савельев! — Алексей вскочил. — Собирайся! Тебя из лагеря сегодня выпускают.

...В тот день было двадцатое июня. Об этом Алексей узнал случайно. Он вышел за ворота, а на дворе день тихий, ясный, солнце светит: того гляди, что небо улыбнется. А к морю выбрел, там и вовсе все сверкает: какой-то дивный праздник мир справлял.

— С праздничком вас, — он низко поклонился мужику, сидящему на берегу у лодки. Алексей его узнал: он иногда приезжал в лагерь, привозил откуда-то рыбу да крупу.

— А что за праздник? — удивился тот. — Двадцатое июня нынче, откуда тебе праздник?

— Выходит, впереди все лето, — понял Алексей. — До холодов дойду ли? — Он принялся считать: — Тут, до Амура, дней за двадцать доберусь, наверно, а там еще почти две тысячи верст. Если идти в день верст по двадцать... Сто дней идти придется, — высчитал старик.

— Ты что, пешком идти собрался? По Амуру пароходы ходят.

— А где мне деньги взять на пароход? Пешочком, потихоньку доберусь. Что мне? Я налегке, без всего...

Он улыбнулся: как в последний путь. Бог напоследок счастья дал: пройти, полюбоваться, попрощаться. Нет ничего с собой: ни денег, ни вещей и ни забот. Одна душа осталась, и полетит она по рекам, по лугам, по синим сопкам.

— В детство впал, что ли? — мужик засмеялся. — Охотским берегом пойдет он! Да ты и до Амура не дотянешь. — Он долго, пристально смотрел на Алексея, будто прикидывал что в уме, решал и наконец решил: — Дней пять протянешь, самое большое.

— Ты прямо, как Петрович, — Алексей расстроился. — Тот тоже: «Они тебя на смерть, наверно, выпускают, да лучше б сразу пристрелили, как собаку. Пропадешь в тайге!» А что бы я пропал-то? — удивился Алексей.

— Тут ведь места безлюдные, нежилые: что будешь есть, где ночевать?

— Да много ли мне надо? Как птичка, поклюю, и ладно. У меня котелок с собой есть, нож, спички, — похвастал Алексей, — ребята хлеба на дорогу мне собрали. Пройдусь за милую душу. Мы на земле ведь странники. Да, милый, странники, а ты, поди, не знал? Не заворачивай меня с дороги, я пойду, — Алексей поднялся. — Ну, Господи, благослови, — перекрестился он, пошел...

Он скоро выбрался на твердую полоску и зашагал по ней легко и споро. Есть эта радостная легкость в чувстве странника, когда ничто не тяготит, душа будто с какой-то птицей спелась, и вот она летит, летит! Как славно-то отдаться вольной жизни, морскому ветру, крикам птиц, дороге... Как славно угадывать запах моря, вкус соли на губах и этот ветер, вольный встречный ветер, несущий по небу облака и в море волны. Алексей вдаль глянул, и душа запела.

Море едва очистилось ото льдов, но солнце и тепло брали свое. Уже сердечные цветы раскрылись — раз Алексей их встретил целой кучкой, и долго шел, оглядываясь на маленькие желтые цветы. А то раз видел рыбу-серебрянку, другой раз видел синего кита, следы медвежьих лап на берегу... да мало ли, еще чего он видел.

Однажды — шел уже третий день пути — старик набрел на чье-то старое кострище, и вдруг возле него в песке что-то сверкнуло. Он наклонился и увидел: там лежит колечко. Колечко было оловянным и слегка погнутое, но камушек блестел будто живой. Алексей вытер его поллой рубахи и залюбовался.

Славный суперик*, улыбнулся Алексей. Вот и гостинчик есть старухе. А то куда годится? Десять лет дома не был, вернулся — и гостинца не привез. Не по-

* Суперик — тоненькое колечко с глазком из камня (диал.).

людски, пожалуй, это будет. Он раньше привозил всегда гостинцы ей: то ботики, то шаль, а то отрез. Дарья потом ходила по соседкам, говорила: «А Леша мне на кофточку, на юбочку привез». Теперь пойдет и скажет: «А Леша мне суперик с камушком принес!» Алексей счастливо засмеялся.

А ничего, что перстенок? — заволновался вдруг он. Ведь не молоденькая Дарья, скажет: не к лицу румяна. Ну, скажет, старый, учудил: колечко мне принес, как крале. Платочек было бы, конечно, лучше, какой-нибудь бы в крапинку, с каймой. Но ведь платочек на дороге не валялся... суперик — тоже хорошо: наденет, и куда с добром.

А если не налезет? — ахнул он. Колечко было маленьким и узким, его, наверно, потеряла здешняя гилячка. У них, гилячек, пальцы, как былинки, а у его-то Дарьи — во рука! Да уж она, наверно, сохлась, как и я, подумал Алексей. Все десять лет он не имел вестей из дома, и сам не мог им весточку послать. И как там Дарья? Может, померла? Жива, подумал он, жива, только совсем уже усохла. Налезет перстенок-то, подойдет.

С тех пор стал Алексей поглядывать под ноги, ведь дома еще дети, внуки. Ну, дети — ладно, а внучат бы надо одарить, они гостинцы любят, им это забавно. Обступят, глядеть будут: что дед принес из дальних странствий? Он подобрал две голубые дивные ракушки, нашел красивый цветной камень — не камушек, а королек, в нем словно светлячки сияли, а как-то море вынесло под ноги деревянную резную ложку.

На шестой день пути старик набрел на рыбаков. Откуда они взялись тут? Кто знает, только еще издалека увидел он, как один стал раскладывать костер, а двое вытащили сети.

— Бог в помощь, — подошел к ним Алексей. Снял сапоги: вот ноги-то замлели — спасу нет, будто песок бежит в них. Он не спеша лег у костра в предчувствии ухи, тихого вечера, неторопливых долгих разговоров. Костер от лапника занялся хорошо, дым шел смолистый, с искрой — поразогнал немного комаров. Да Алексею комары не страшны, они его и не кусают — старый, видно.

— А ты чего разлегся тут? — спросил лысый мужик, подтаскивая к костру плавник и ветки.

— Пускай лежит, место не куплено, — вступился кто-то.

— Да ты знаешь, сколько тут сейчас их, беглых?

Ого! Алексей живо сапоги надел, схватил котомку, да и ходу. Бежал и всю дорогу спотыкался: один сапог в горячке до конца не натянул. «Ой, злой какой, ой, злой, — шептал он торопливо. — Какой тебе я беглый? У меня документы есть, бумажки — чин по чину».

Алексей оглянулся: дымок костра уже исчез за поворотом. На всякий случай он еще немного пробежал, потом уж сел. Ох, еле отдышался! Сердце билось, и Алексей, чтобы унять его, прилег. Камушки пахли морскими водорослями, солью; которые были в узорах, а которые и так лежали, серой мышкой. Разглядывая их, он успокоился и даже задремал, но тут же пробудился от долгого протяжного гудка.

— Ой, батюшки, корабль плывет! — вскочил он. — Наверно, вокруг света.

С чего он взял, что вокруг света, Алексей не знал. Он никогда не плавал вокруг света... и никогда уже не поплывет.

Алексей заплакал. Теперь, когда с тех пор прошло так много лет, уже никто, конечно, не узнает, о чем он плакал, что легло ему на сердце. Да и тогда никто об этом не узнал, лишь легкий ветер пролетел и вдаль умчался.

Шел седьмой день пути. Хлеб, что Илья собрал ему в дорогу, кончился вчера, а ягоды-грибы в тайге еще не подоспели. К полудню Алексей стал

обмирать: чуть-чуть пройдет и сядет, еще пройдет и снова валится без сил. Пустынный берег, лиственницы, скалы — хоть бы какой кораблик проскочил! Вчера корабль был, по морю плавал. Ну, правда, далеко, почти не видно, а все равно — чуть-чуть, да веселей с ним было. Как будто люди где-то есть, как будто бы он не один на свете.

Старик закрыл глаза; его тотчас же закружило, и он лег. Качает, улыбнулся он, как мать в зыбке качает... Сейчас засну и не проснусь, подумал Алексей и тотчас услышал: «Не спи». Глаза открыл и смотрит — а невдалеке на ветке птичка.

— Синичка, — улыбнулся Алексей, разглядывая птицу с черной шапочкой на голове. — Чему мы можем у птиц поучиться? — вспомнил он. — Так раньше в старых книгах-то писали: «Чему мы можем у птиц поучиться? Птичье житие учит и нас иметь житие нестяжательное и беспечальное».

Синица замолчала, стала слушать.

— А я вот что-то опечалился сегодня, — признался Алексей, — совсем ослаб, и ноги не идут. А знаешь, по земле еще пройти охота: дом увидеть бы, сад наш... Ох, сколько в том саду птиц было! Там и воробьи тебе, и ласточки, и вот такие же, как ты, синички. Но, не в обиду тебе сказано, я больше жаворонков полевых люблю.

Синица что-то торопливо прошептала.

— Ты тоже птаха милая, но — жаворонок! — Алексей улыбнулся. — Я помню, маленький совсем был, сидел с отцом на поле в шалаше и жаворонка в небе слушал...

Он опустил голову и долго плакал, лишь иногда чуть слышно всхлипывая. О чем он плакал? О том, что скучна старость? Что скучен весь осиротевший мир? Что он один, совсем один на свете, и слушает его только лесная птица? Как одиноко, Господи, как одиноко! И неужели впрямь мы одиноки на этом тяжком горестном пути?

Алексей поднялся. Зачем-то дал же Бог ему пройти по свету, зачем-то выпал напоследок этот путь...

Уже спускалась ночь, а он все брел и брел куда-то. И вместе с ним по небу брел прозрачный месяц, прохладный ветер крался по пятам. Вот впереди блеснула речка. Он подошел: вода была быстра, но речка мелкой. Что-то темнело возле камня. Старик пригляделся — это была рыба. Спит. Прибилась к камню да и спит. «Тут мелко, — подумал Алексей, — если осторожно, так я ее руками прям словлю». Он снял котомку и, растопырив руки, тихо вошел в воду. Рыба тотчас метнулась, старик кинулся за ней, поскользнулся и упал в реку.

Он выбрался на берег и подождал, пока с него стечет студеная вода, потом лег на песок у речки. Песок к ночи остыл, старик съежился в комок, прижал к себе котомку, но теплей не стало. Он съежился сильнее и медленно, вместе с песком, камнями, начал остывать. К утру совсем застыну, понял.

Вдруг на лицо упали чьи-то слезы. Кто тут? Кто плачет? Дарья, что ли? Нет, то упал туман; белый, как саван, он напознал на Алексея с моря. Обмоет и покроет, подумал Алексей, обмыть вот только некому. И следом раздался горький плач; это проснулась и о чем-то о своем затосковала чайка.

Что не спалось ей в эту ночь, что не лежалось? Чего она вдруг всполошилась, полетела и закричала жалобно и горько?

— Ты не тоскуй, — сказал ей Алексей. — Чего там? Жизнь прошла.

Он долго лежал молча, вслушиваясь в рокот моря, шум ветра, плеск реки. «А я ведь маленьким когда-то был, я был ребенком, — вспомнил Алексей. — Сидел на поле в шалаше и жаворонка слушал... — мелькали перед ним картины детства. — А вот мы вроде в церковь все идем: мать, отец, братья...»

— Колокола звонят, — пробормотал он. — Как славно: будто наяву их слышу.

Алексей вздрогнул: сквозь туман опять раздался мерный удар колокола. Мнитесь, подумал он. Все уже чудится, все мнится... Постой! — вскочил он и схватил котомку. Прислушался: нет, правда, с моря колокол звонит! Он побежал, споткнулся, сбавил ход, почти на ощупь продвигаясь в белой пелене тумана. Вот впереди забрезжил огонек, и скоро Алексей уперся в чью-то избу. Нашарил дверь, толкнулся — дверь не заперта. Старик ввалился в избу: она была пуста, на подоконнике светила керосиновая лампа, печка теплом дышала. Он скинул мокрый ватник, сапоги, лег на пол спиной к печке и тут же провалился в сон.

Открыл глаза — в окно ярко светило солнце. Лежал он на кровати, укрытый толстым серым одеялом. Какой-то молодой здоровый парень с обветренным лицом и в выцветшей тельняшке сидел возле стола и что-то мастерил. Почувствовав взгляд Алексея, подошел к нему:

— Проснулся? А я уж думал, что тебе каюк. Ты как сюда попал-то?

— Сам не знаю, — подивился Алексей. — Вдруг слышу ночью: будто с моря колокол звонит мне, да так ясно, звучно... пошел, пошел и выбрел на твою избу. Вот ведь чудо!

— Да какое тебе чудо, — засмеялся парень. — Это маяк. У меня на маяке колокол стоит, в сильный туман сигналы кораблям им подаю.

— Я давеча корабль видел, — вспомнил Алексей. — Смотрю, поплыл куда-то вокруг света.

— На Магадан поплыл, — ответил парень.

Назвался он Максимом. Сразу на стол стал собирать: поставил перед гостем чашку ухи, кашу с тушенкой, большую кружку чая. Как ни оголодал старик, но ел он не спеша, степенно, с разговором.

— Ты сам-то из каких краев? С рязанских? — удивился Алексей. — Далеко забрался.

— Меня весной сорок пятого призвали, — стал рассказывать Максим, — на Тихоокеанский флот попал я. Нас сразу в эшелоны и сюда, как раз к войне с Японией успели. Воевал на Сахалине, на Курилах, теперь наша база здесь... недалеко стоит. А маяк к нам приписан, меня сюда с весны смотрителем определили: месяц я, а месяц мой напарник.

— Домой-то скоро?

— Еще два года отслужу и здесь останусь. Привык уже к этим местам, без них скучать буду. Да еще такое дело: мать пишет, голодно у них, а здесь жить можно. Вон, на Амуре есть рыбный завод Пуир; там, говорят, нынче весной на корюшке мужики по две-три тысячи рублей заработали. Мать выпишу сюда, сестренку... заживем. Меня в любой колхоз, в рыболовецкую артель с руками оторвут!

«Славный парень, — думал Алексей. — Внуку моему старшему по годам, наверно, ровня».

— Внук у меня Костя твоих лет сейчас примерно, — улыбнулся Алексей. — А я тут шел, набрал домой гостинцев... хочу ему ракушку подарить, — вытащил свои находки из котомки.

Парень взял ракушку, долго смотрел то на нее, то на Алексея, потом сказал:

— Ты знаешь, у меня фонарик есть хороший. Смотрит — жужжит... — Он взял какую-то черную коробочку величиной с детскую ладонь, нажал рукой — та засветилась, зажужжала, как жук весной на огороде. — Бери, подарить внуку — стоящая вещь. Ему сколь лет-то? Двадцать? Ну, мне тоже двадцать. Бери, бери, еще себе куплю...

Максим ушел маяк проверить, а Алексей все на фонарик любовался: и светит, будто светлячок, и жужжит, как жук. Потом подбросил в печку дров, нагрел

в тазик воды помыться. Рубаху снял — белый налет на коже. Вот просолился за дорогу-то — как груздь в бочонке! Он простирал рубаху и портянки, заштопал мало-мальски ватник. Ватник пропах дымом костра, запахом моря и еловой хвои. Услышав эти запахи дороги, Алексей затосковал: ему идти скорее захотелось: пока дождей нет — самая дорога.

Наутро он легко потек в путь, как ручей под сопку. Хотя котомка у него потяжелела: Максим еще кулек крупы дал, плитку кирпичного чая, спички, сухари и даже банку тушенки. Ну, дай-то бог ему здоровья, да отслужить скорей, да мать увидеть...

С версту прошел, и вдруг дорогу каменная круча преградила. Алексей думал обойти — не вышло. Ну, с Богом, перекрестился он, полез. Скала полого шла, и он легко залез на первый выступ. Присел на корточки немного отдышаться. Сижу, что твоя кайра, засмеялся Алексей: напротив из воды цветные, вроде как сиреневые скалы выступали; на них вот также по уступам сидели неподвижно птицы. Подняв вверх плавники, как крылья, резвилась возле берега белуха, и ее нежный мелодичный голос долетал до старика. Потом где-то вдаль увидел он фонтаны.

— Ой, батюшки, кит! Что вытворяет! — Кит пускал пушистые фонтаны. — Как малое дитя играет, — рассмеялся Алексей и долго глядел вдаль на неожиданного гостя моря.

День пролетел, как звездочка с небес упала, незаметно. Старик остановился на ночлег. Он разложил костер, соорудил над ним таган, набрал в ручье воды, поставил кипятиться чай. Достал банку тушенки, долго разглядывал ее и снова положил в котомку: до дома донесу, решил, еще один гостинец будет. Старик поужинал, устроил наскоро лежанку из еловых веток и лег у догоравшего костра. Закрыл глаза, и снова замелькала перед ним дорога: то журавли летят над головой, то вслед глядят тюлени.

— Днем ничего, — вздохнул он, ежась от холодного сырого ветра, — а ночь пришила, и я затосковал. Так тосковался я по дому!

Он лег на спину и засмотрелся в небо, выискивая в нем родных-знакомых.

— Вон Птичьё Гнездышко, — обрадовался Алексей, глядя на звезды, собранные яркой кучкой. — А вон и Кичиги взошли, у нас по ним в деревне время узнавали: когда поднимутся высоко — это полночь, а как вниз спустятся — пошло дело к утру. А уж совсем к рассвету — там Зарничка...

Светло и тихо было в небе: мерцали звезды, Млечный Путь лежал как долгая дорога, месяц по бездорожью плелся, прямо среди звезд. Старик вздохнул.

— Это не я, душа моя вздыхает, — решил он. — Куда-то собралась она, затрепыхалась...

Невнятным детским языком душа заговорила и замолчала, застыдилась. Но ей откликнулся вздох волн, ночного ветра — как будто вся земля вздохнула и опять затихла.

Проснулся утром он от громкого, отчаянного рева. Вскочив, он сгоряча метнулся в сторону, но зацепился за корягу и упал. «Спаси и сохрани», — шептал старик, уткнувшись лицом в землю, но и сама земля тряслась от этого отчаянного рева. Ни человек, ни зверь так не кричал: ревел кто-то могучий, сильный, рев перешел в смертную протяжную тоску и стих, но еще долго казалось старику, что слышит он короткие, отрывистые всхлипы.

Он встал. Мир не перевернулся. Все так же плыли к берегу серо-стальные волны, и лишь вдаль неслась по ним стремительно и торопливо стая. Косатки, понял Алексей. Кита заели... Может быть, тот, вчерашний, что пускал фонтаны.

Слышал Алексей рассказы про то, как в море на кита охотятся большие хищные косатки, как берут его в круг, в облаву; слышал, но и не знал, что он кричит так, расставаясь с жизнью.

— Он ведь вчера еще играл, — Алексей всхлипнул. — Я его видел, он фонтанчики пускал. Ни сном, ни духом ничего не ведал...

Старик искоса взглянул на море, а море хмуро посмотрело на него. Алексей не стал раскладывать костер: ему хотелось поскорей уйти с этого места. Сначала даже побежал, потом немного успокоился, ход сбавил, но еще долго бормотал: «Спаси и сохрани...» Над ним стремглав промчалась чайка, за ней другая: кто-то спугнул их, видно. Старик огляделся — никого. Ни старого кострища, ни обрывка сети, как будто не было здесь никогда живой души.

Но к вечеру он выбрел на деревню. Она стояла на пригорке, чуть вдали от моря. Сквозь туман увидел Алексей дымки над крышами, потом услышал лай собак, крик бабы: «Зорька, Зорька!» Он подошел к селенью огородами. В домах топились печи, пахло жилым духом. Где-то совсем рядом доцветала, осыпалась белая черемуха; она здесь распускалась поздно, а пахла так же, как у них в селе, когда он молод был, когда мечтал о счастье... Прошли и пролетели годы, но и сейчас ему хотелось счастья: хотелось в избу и в тепло, и ноги вытянуть, чтоб они не гудели.

Старик пошел к крайней избе. Он заглянул через заплот, и отчего-то сжалось сердце. Давно он не видал людских дворов, а в них все так же: растет крапива по углам, кудахчут куры. Вон под навесом глиняная печка, хозяйка рядом с ней белье стирала. Мыльная пена с шипением ползла из-за краев корыта и падала цветными хлопьями на землю. Лежавший рядом кот тоже шипел, шлепал по пене лапой, а мальчишка лет семи смотрел на это дело и смеялся.

Гостей здесь принимали славно: Алексея в избу провели, дали тарелку супа, поставили миску черемши, толченую с крупной серой солью.

— Эх, горемычный, — взяла хозяйка сапоги его, поставила сушиться к печке. — Набедовался ты, смотрю, хватил где-то мурцовки. Снял сапоги, а ноги-то все сбиты, все истерты... Да где ж ты ухайдокался так, бедный? Издалека идешь-то? — С лагерей.

— Ой, горе горькое, — заплакала она. — Прямо старик и горе...

— Ниче, — ответил Алексей. — Жив, и слава богу.

Он огляделся. Как тут славно! Все по-людски: подушки на кроватях, покрывала с белыми подзорами, и тот же кот мурчит у печки, и даже ходики стучат тик-так... Старик застеснялся: отвык я от людской жизни, будто не мое уже все это, думал он.

Оказалось, Алексей почти дошел до мыса Перовского — того, что узкой полосой метров на сто вдается в море и где в погожий теплый день любят погреться на камнях морские сивучи. Но до Перовского немного не дошел, а попал в рыбацье село Тывлино, к вдове солдатской Варе и ее сынишке Саньке.

Уже стемнело. На потолке зажглась неярким светом маленькая электрическая лампа: в поселке свой движок был. Варя разлила чай, поставила чашку брусники, собранную, видно, по весне: ягодка к ягодке, как бусины бордовые лежат. Ягоды, простоявшие всю зиму на кустах под снегом, лопались во рту с тихим стеклянным звоном.

— У нас тут рыбозавод, — рассказывала Варя. — Да здесь повсюду рыбные заводы: и на Перовского, на Коль, и на Коль-Никольском... Чудное, говоришь, название? Как колокольчик? Коль — песчаная коса, это по-гиляцки будет. А Никольское русские прибавили, в память зимнего Николы: вот и получилось Коль-Никольское. Село красивое, большое, кругом реки да озера... Слышал, что нынче там случилось?

Не слышал? Да одна баба — жена тамошнего кузнеца — зимой тройной родила! Три сына-близнеца! Ой, шуму было, разговоров... Ей от производства даже по-мощь дали: шестьсот рублей — раз, ситца на пеленки — два, да еще по килограмму риса, сахара, несколько банок сгущенки, — взახлеб перечисляла Варя. — У них с кузнецом теперь аж пятеро детей. А мы с Санькой вдвоем остались, — всхлипнула она без перехода. — Какая есть родня, и та далече.

Санька покраснел, насупился и крикнул:

— Зато мы с мамкой в город съездим!

— Нынче мне отпуск на неделю обещают дать, — сказала Варя, вытирая слезы обветренной красной рукой. — Всю войну без выходных, без отпусков работали: летом-осенью на рыбозаводе, зимой на лесозаготовках. А этот год, говорят, выйдет нам отпуск по неделе. Хочу с Санькой в Николаевск съездить, город показать ему.

— Мы с мамкой в городе в кино пойдем, — похвастал Санька.

— Да еще думаю к зиме там что-то прикупить: Саньке пальто, себе шаль теплую. Деньжат, конечно, маловато. За зиму чуть подкопила, да нынче в мае снова был заем. Слышал — нет?

Алексей покачал головой и про себя подумал: ничегошеньки не знаю я, давно вычеркнут из жизни.

— Второй государственный заем объявили нынче. Месяца уж два назад, пятого мая ночью по радио передали. У нас в цеху сразу собрание: на восстановление страны после войны — кто, сколько государству даст займы? Наш засольный мастер тысячу двести рублей получает, так он на две тысячи подписался. А у меня — восемьсот рублей в месяц, я на тысячу подписалась: что подкопила, чуть не все ушло.

Тут лампочка мигнула три раза подряд и медленно погасла.

— Опять в десять часов выключили свет, — рассердился Санька. — А положено в двенадцать!

Стали спать ложиться, без того уж засиделись. Гостю выделили Санькину кровать у печки. Старик, давно отвыкший от постели, лег, и косточки разнежались, размлели: подушка, стеганое лоскутное одеяло... А тепло какое! В избе тихо, пахнет печным дымом и сухой полынью. Но Алексею не спалось; вздыхал, ворочался, про дочек думал. Сынов у него нет, только три дочки: а если тоже овдовели? Всех зятьев в памяти перебрал, и что только в голову не лезло, что не мерещилось! Алексей заплакал.

— Что плачешь, дед? Устал? — окликнула его тихонько Варя. — А если бы ты знал, как я устала! Ложусь с вечера, думаю, все — утром не подняться... Ну, это ладно, я тебе скажу другое: ты дальше берегом моря не иди. От нас на один прииск есть в тайге дорога: по ней пойдешь, пойдешь, перейдешь по мосту речку, а там верст через десять будет прииск. От него до озера Чля грунтовая дорога: сам дойдешь, а то и подвезут, у них на прииске есть машина. А уж от Чля до твоего Амура вовсе рукой подать.

Утром Алексей вышел за околицу рыбацкого села. Здесь старик и море попрощались. Море махнуло ему вслед крылом орлана, а старик молча постоял, послушал шум прибоя, крики топорков и чаек и повернул на новую дорогу. Она легла под ноги как ковер из мха. Пахло смолой, хвоей и еще чем-то чистым, свежим, родниковым — так пахнет только в северной глухой тайге.

За буреломом затаилось кладбище, но Алексей его заметил, подошел. Кладбище было старым и давно заброшенным, забытым, только одна оградка сохранилась почти вся. Алексей долго рассматривал ее, дивился: тонкая, старинная работа... Сам плотник, а такого бы не сделал. Без единого гвоздя оградка: друг над другом

три горизонтальные доски, пазы в них выпилены, а в них штакетины резные вдеты. Что за мастер делал? И кого здесь хоронил: отца ли, жену, брата? Старик перекрестился, долго стоял, слушая гул ветра над погостом, потом услышал шум воды на перекатах.

Река подала голос. Голос был чистый, звонкий, как у жаворонка в поле. Алексей заторопился, пошел на голос прямо через ельник и скоро вышел к берегу. Речушка оказалась мелкой, похожей на лесной ручей. Близко к берегу доцветал и осыпался лепестками в воду белый куст пиона. А где же мост, дорога? Наверно, ниже вышел... Старик пошел вверх по течению, по галечной косе, поросшей кое-где ольхою; потом кинулся обратно: нет ни дороги, ни моста. Зато к другому берегу подошли сопки и отодвинули ручей к тайге, поросшей мхом, как дальний угол паутиной.

«Вот горе», — Алексей остановился.

Да это не та речка, я на ручей свернул какой-то, понял он. Где-то в сопках перекликались рябчики, без усталости кукушка куковала, и от ее грустного, далекого «ку-ку» старик почувствовал себя таким затерянным, заброшенным, что даже заплакал.

— Обвел ты меня, старого дурака, вокруг пальца, — подошел к ручью он.

Ручей мерцал на перекатах огоньками, будто подмигивал кому-то: да, обвел... Было видно, как на дне, возле позеленевшего большого камня, мельтешат и кружатся песчинки. Родничок бьет, понял Алексей. Он сполоснул лицо, долго пил пригоршнями ледяную воду, а сердце все не унималось, ходуном ходило. Устал, набегался — лег старик на берег, кинув под голову ватник. Ручей звенел все тише, тише... Алексей уснул.

Проснулся от того, что кто-то тряс его за плечи:

— Живой?

Старик вскочил. Возле него стоял веснушчатый парнишка лет тринадцати в кирзовых сапогах и в стареньком, великоватом пиджаке.

— Живой, — засмеялся он. — А я иду тем берегом, смотрю, вроде лежит что-то. Хотел мимо пройти, думал, что коряга.

— Да Бог с тобой... коряга, — заволновался Алексей, — какая я тебе коряга. Это меня ручей с дороги сбил. Я шел на прииск, он под ноги подвернулся и привел сюда.

— А я в один распадок бегал, — сказал Степка (малец назвался Степкой). — Есть тут один веселенький распадок, — махнул рукой на сопки. — Ключей в нем... все кругом звенит! Поймал маленько рыбы. — Он подтянул берестяной короб, приподнял траву, и Алексей увидел с полпуда хариусов, линьков, красноперок. Степка довольно засмеялся и добавил: — Всю неделю с рыбой будем. Я бы хоть по целым дням рыбачил. — Он сел на берег, стал переобуваться. — Да времени не хватает, некогда, дед, с удочкой сидеть.

— Чем занимаешься?

— А тем же, чем и все. У нас тут все, кто не работает на прииске, золото на себя моют: и бабы, и подростки, а когда и старики. Мы с братом тоже с лотками ходим на ключи. Если за день ведер сто песка промоем, то два-три грамма золота выйдет. Сдаем его в золотоскупку, боны получаем, на них хорошие продукты можно взять: муку, масло... Нас у матери осталось трое, а я старший: много не побродишь по распадкам. Пошли, скоро смеркаться будет, — поднялся Степка, стал навьючивать на спину короб. — Далеко идти, пойдем по марям. Там есть одно озеро с во-от такими белыми кувшинками — посмотришь...

Степка шел легко и быстро, но, посмотрев на Алексея, сбавил ход. Пока до озера добрались, кувшинки ушли в воду спать. Озеро было маленьким, за ним тревожно крикали утки и хором квакали лягушки. Пахло сыростью, осокой и ле-

жалым мхом. Быстро темнело. «Фонарик есть же!» — вспомнил Алексей. Достал его, рукой нажал, и тот откликнулся веселым огоньком, чуть осветил утопанную тропку среди кустов багульника и редких осин.

— Ух, ты! — обернулся Степка. — Фонарик, — засмеялся он. — Теперь пойдем, а то я уже думал здесь, под кустом, заночевать придется. Тут, дед, без света ночью не пройдешь.

К поселку уже вышли в темноте. Поселок спал, только в одной избе светились окна.

— Меня ждут, — сказал Степка и направился к той избе. Навстречу из калитки выбежала мать:

— Ну, наконец-то! Все глаза уж проглядела... А это кто с тобой тут?

— Старика нашел. Спускаюсь с сопки, а он спит себе на берегу, — засмеялся Степка. — Шли медленно, он идет тихо, еле добрались. У нас на Чля будет машина?

— Да будет, будет... я уговорю, чтоб его взяли. Идите скорей в избу!

Здесь Алексей прожил три дня. Рано поутру все расходились: Степкина мать Полина шла на драгу, сам он с братом на далекие ключи. В доме оставалась только младшая из ребятишек Катя, похожая на божью коровку в своем красном с черными горошинами платье. Она тут же принималась домовничать: мела полы сухим полынным веником, мыла в тазике посуду, добела скребла дощатый стол в кухне, потом шла полоть картошку. Старик все норовил помочь, а в ответ слышал: «Спи, лежи. Степка сказал, тебе с дороги лежать надо».

И Алексей лежал, грел спину, слушал радио. Радио — большая черная «тарелка» — висела на стене возле кровати, слышно было хорошо.

Что только в мире не творилось! Матушка Москва нынче восемьсот лет справляла. Для сердца русского — большой и светлый праздник. Красивый мужской голос из «тарелки» сообщил: сам праздник будет осенью, седьмого сентября, но уже сейчас по всей стране идут ударные стахановские вахты.

Потом в радио что-то щелкнуло, и уже другой, мелодичный женский голос рассказал:

«В нынешнем году в РСФСР будут осуществлены большие работы по строительству и восстановлению после войны зданий сельских школ, детских домов и детских садов. В эксплуатацию должно быть сдано пятьсот семьдесят восемь сельских школ на сто шестнадцать тысяч триста двадцать мест, семнадцать детских домов и семь детских садов. На строительство затрачивается девятьсот миллионов рублей».

Потом опять мужик заговорил:

«Наша страна вступила во второе полугодие 1947 года. Наступил наиболее ответственный период борьбы за выполнение обязательств. Через четыре месяца каждый советский человек должен будет отчитаться перед своей любимой Родиной — с чем он пришел к всенародному празднику Великого Октября, как он трудился на благо Отчизны».

«Выходит, что уже июль. До холодов дойду ли?» — думал Алексей. Он подошел к окну, стал всматриваться в улицу: крытый колодец возле магазина, избы с сараюшками, с цветущими одуванчиками у заборов. Улица уходила вдаль дороги. На дороге пыль столбом клубилась: облако пыли двигалось, ревели, с грохотом остановилось возле дома, и Алексей увидел грузовик.

— Дед, — вбежала в дом Полина, — быстро собирайся! Думала, завтра будет на Чля машина, а ее отправили сегодня.

Старик засуетился: где портянки?

— Да вот, я тебе нашла другие, те совсем сопрели.

Полина сунула ему в котомку вяленую рыбу и лепешки, протянула красную бумажку:

— Возьми деньги, тут немного, но на пароход от Чля до Николаевска должно хватить. Бери, Степан распорядился, сказал, дать на билет хотя б до Николаевска.

— Славный у тебя сынок, — взял старик деньги.

— Четырнадцатый год парню, — улыбнулась радостно Полина, — нынче в седьмой класс пойдет. Учится только плоховато.

— Не важно, что у него здесь, — дотронулся старик рукой до лба, — важно, что здесь, — показал на сердце. — А здесь у него золото... Пстой, я ему гостинчик дам, — спохватился Алексей и вытащил фонарик из котомки. — Передай Степке, будет на рыбалку бегать с ним.

С улицы громко просигналила машина. Старик подхватился, побежал, полез в кабину, а там, кроме шофера, сидел важный мужик, стриженный бобриком, с пузом. «Куда лезешь? — крикнул. — Давай в кузов». В кузов, так в кузов. А с него все даже лучше видно. Старик видел, как долго стояла на крыльце Полина, потом увидел босоногих ребятишек у околицы, потом машина проскочила маленькую речку, спугнула журавля на берегу, и тот стремительно взмыл в небо, к марям потянул.

Озеро Чля Алексей толком и не разглядел: оно было в сплошном белом тумане. Сквозь туман слышались плеск волн, переключка уток, иногда робко подавал голос маленький деревянный пароходик возле пристани. Где-то совсем рядом, за Глинской протокой, лежал в устье Амура Николаевск, тот самый город, с которого у Алексея начнется главный путь к родному дому.

Пароход уходил утром, старик боялся опоздать и коротал без сна всю ночь на берегу. Но пароход пошел только к полудню, когда туман рассеялся и поредел, открыв на берегу бревенчатые избы и небольшой ручей, сбегавший к озеру. Где-то вдали, в голубоватой дымке, высилась одинокая гора с белой вершиной. Старик вспомнил: Степка говорил, что с озера можно увидеть прииск Белая Гора. Наверно, он-то и виднелся.

У Алексея был билет и даже место в большой общей каюте; старик как сел на место, так и задремал. Ему приснилось, будто бы он дома. На дворе зима, снег за окошком, а в доме тихо и тепло, топится печь, и весело трещат поленья. Сам Алексей, взяв шило, молоток и дратву, сидит у печки, чинит упряжь, а Дарья жарит пирожки. Алексей, как наяву, услышал запах горячих, только что со сковородки, пирожков и во сне заулыбался. Но Дарья горестно вздохнула и сказала: «А сердце-то болит, болит, так давит, будто присыпано землей...»

Вскочив, он ринулся бежать куда-то, но услышал рядом ласковый, певучий голос:

— Что ты вскочил, сердешный? Разбудила я тебя? Прости старуху, совсем из ума выжила: сама с собой уж говорю.

Рядом с ним сидела сухонькая ветхая старуха, туго повязанная ситцевым, в синюю крапинку, платком. Между ней и Алексеем примостилась плоская плетеная корзина, и от нее тянуло, как от русской печки, запахом стряпни.

— Внука проведать в Николаевск еду, — сказала старуха. — Внучок у меня, Ваня, учится там в ФЗО. А сердце-то болит, болит, так давит, будто присыпано землей, — вздохнула старуха, вытирая углы рта концом платка. — У нас собрали пацанят лет по пятнадцати и — в фазанку, а кормят неважнецки, ребятишки исхудали все на нет. Вот и везу гостинцы внуку. У меня три курочки-несушки, четвертый петух... так яиц немного подкопила, — рассказывала нараспев она. — Капуста квашеная в подполе с зимы осталась, хорошенько ее вымочила, обжарила, да лучку зеленого туда — и такие вышли пирожки... Возьми, попробуй, — протянула Алексею румяный, еще теплый пирожок. — Не солоновато? — с тревогой посмотрела на него.

— Ой, вкусно, — улыбнулся Алексей. — У меня Дарья тоже мастерица печь такие.

Старуху звали Василисой. С какого года? Да давненько родилась... Конечно, здесь на Чля и родилась. Помнит еще, как в давешнее время в феврале съезжались к озеру тунгусы и якуты, со всей тайги везли на ярмарку пушнину. Помнит, была на Чля большая резиденция самого Ильи Яковлевича Чурина, знаменитого купца из Благовещенска: тоже золотом здесь промышлял. Да многое что помнит — жизнь большая. Жизнь большая, а прошла как миг.

— Но, — согласился Алексей, — не успеешь оглянуться, и уже всё — в ямку... Детей много?

Детей у Василисы было четверо. Слава богу, живы все, здоровы. Младший сын воевал, вернулся, говорит: сколько земель видел, а лучше, чем у нас на Чля, нигде нет.

— Да у нас какая красота, — стала нахваливать старуха свой озерный край. — А уж рыбы, рыбы! Кета хлынет в ручьи — весло в него поставишь, и оно стоит, не шелохнется. По ягоды в сопки пойдешь: один распадок синий весь от голубицы, другой красный от брусники, третий...

У пароходика прорезался вдруг голос: он прогудел громким, раскатистым басом, и Василиса подхватила: к Николаевску подходим. Вышли на палубу. В устье Амура Алексей прежде не бывал; он долго вглядывался в набегающие волны и никак не мог взять в толк, что видит ту же, знакомую с детства реку. Она здесь пахла морем, дышала холодом, шумела, будто утренний прибой. На берегу лежал маленький город, убегающий к зеленым сопкам. И ничего нет от родных среднеамурских мест: ни поля, ни равнины — одни сопки...

— Ой, что тебе я расскажу-то! — спохватилась Василиса. — Говорят, нынче в Николаевске на пристани открыли чайную. Кругом столики, на них белые скатерти, цветы, да еще и радио играет! Меню какое-то у них там, — старуха засмеялась, покачала головой: — Все по-культурному, по-городскому.

У пристани стоял какой-то пароход. Он был похож на длинный двухэтажный дом — с круглыми окнами, с двумя большими трубами на крыше. Старик давно его приметил, пристально вглядывался, как в дальнюю полузабытую родню, которую вдруг встретил далеко от дома.

— Нынче вечером пойдет на Благовещенск, — сообщила Василиса, и у Алексея сжалось сердце: его родная деревенька как раз под Благовещенском лежала. — Тебе на него? — Он молча головой кивнул. Зачем кивнул, зачем соврал? Старик и сам не знал, не ведал. — Тогда бери сразу билет, а то еще раскупят, — наставляла Василиса, и он опять согласно закивал.

Пароходик миновал занятый причал и приткнулся где-то к берегу. Загремели сходни. Неожиданно легко сбежав по шатким доскам, Василиса что-то крикнула старику с берега, на минуту скрылась, потом снова появилась — уже наверху крутой дощатой лесенки, ведущей в город.

Алексей подошел к причалу. Возле него стоял, покачиваясь на волнах, готовый в дальнюю дорогу пароход. Приткнуться где-нибудь там в закутке, подумал Алексей, и уже дней через десять будешь дома. Пароход причалит к старой пристани, за ней песчаная, промытая дождями узкая коса, дальше сквозной светлый осинник, и вот она — изба с коньком на крыше, с резным крыльцом, с черемухой у окон... Старик счастливо засмеялся. По нижней палубе шел матрос со шваброй, услышав Алексея, громко крикнул:

— Не стой здесь, еще рано! Посадка будет через три часа.

Старик решил держаться возле парохода: Бог даст, упросит, возьмут его и без билета. Он потолкался по базару, вышел на маленькую площадь. Увидел домик с

вывеской «Чайная» и, заглянув в окно, залюбовался. Все точно Василиса говорила: и столики, и скатерти, и в вазочках цветы — лесные, яркие, как огоньки, саранки. За крайним столиком сидели моряки, курили и смеялись; кто-то, увидев старика в окошке, стал манить его рукой.

Алексей отпрянул от окошка, лег на траву возле чайной. Вечерело; задумчивее, тише стали звуки: шум волн и крики чаек, дыхание большого парохода... Вдруг рядом послышались тяжелые шаги, и кто-то закричал:

— Что, пьяный? Почему валяешься возле чайной?

Старик испуганно вскочил — перед ним стоял мужик в начищенных до блеска сапогах, в галифе и, кажется, в погонах. Пропал! Алексей заметался, хотел бежать, да где там...

— Кто такой? Документы! — Мужик в форме долго разглядывал бумаги, что Алексей перед уходом получил от лагерного коменданта. Сам Алексей их не читал, так в ватник сунул; сейчас испуганно, тревожно следил, как тот перебирает их, разглядывает чуть ли не на свет. — Подпись неразборчива, подделал, что ли?

— Ну, что ты, что ты придираешься? — заплакал Алексей. — Что с меня, старого, возьмешь, одна душа осталась... отпусти.

— Сумку проверить надо.

Алексей поспешно развязал котомку. Мокрый дождя не боится, а голый разбоя: смотри — достал он алюминиевую кружку, закопченный котелок... Мужик сам взял котомку, проверил всю, обшарил, даже отыскал суперик. О! — Алексей похолодел: заберет, как пить дать, заберет колечко! Тот его взвесил на ладони:

— Да это просто олово, — бросил кольцо в котомку. — На свою сумку и иди отсюда. — Старик замешкался, хотел что-то сказать, но мужик крикнул: — Живо, чтобы я тебя больше не видел. Ну!

Алексей бросился бежать. «Господи, на Тебя уповаю, да не постыжусь во-век», — шептал он, вытирая слезы и оглядываясь: нет, мужик стоит, стоит... вслед смотрит. Старик отбежал метров на двести, упал на берег; берег качнулся, поплыл в сторону, и Алексей, как в яму, провалился в забвенье. Спал и не слышал короткого прощального гудка, с которым проплыл мимо пароход.

Алексей шел берегом Амура, а где-то в глубине реки наперегонки с ним шли косяки большой красивой рыбы. Рыба вошла с моря в Амур почти одновременно с Алексеем: в конце июня подошла горбуша, а третьего июля — летняя кета. Тоже на родину рвется, как и я, думал старик про рыбу. В последний путь пошла к родному дому...

Рыба шла быстрее: старик слышал, что сильный косяк и по полсотни километров в сутки может одолеть. А сам он еле продвигался. Прошел уже дней десять и все время упирался в протоки, речки и озера, сидел на берегу, ждал лодки, кружил по потаенным речным дебрям, где жили только утки, кулики и цапли. Цапли, прячась в зарослях краснотала, громко икали, и всякий раз старик пугался. Видно, отвык уже от птиц амурских, голоса забыл их. Отвык, забыл и будто заново все вижу, удивлялся Алексей.

Он пересек прибрежную косу и вышел к берегу Амура. Волна гуляет, блещет серебром, и кажется, Амур качается, как в зыбке, между двух далеких берегов. Было так тихо, что старик слышал шум крыльев черного баклана, всплески рыб на мелководье и какой-то однотонный стук.

Старик прислушался... Снизу пароход шел. Еще за излучиной Амура, но Алексей узнал его по приглушенному шуму колес, встревоженной волне и тому чувству горькой грусти, с которым он встречал все пароходы. Пароход выплыл — старенький, одноколесный; за ним с шипением гналась зеленая амурская волна. На палубе

стояли люди — старик помахал рукой им, в ответ ему тоже замахали, даже что-то закричали. Он замечер: пароход замедлил ход, дал громкий радостный гудок и начал поворачивать... Нет, показалось. Это уже третий пароход, который встретился ему в пути, и всякий раз казалось, что сейчас он развернется, пристанет к берегу, выбросит сходни, и кто-то скажет: «Ну, садись, дед». А он все знай себе — ту-ту...

На косогоре показалась деревенька. Возле нее на берегу горел костер, рядом мужик смолил новую лодку. С кисти, как черные жуки, падали капли и торопливо юркали в траву. Алексей подошел, сел рядом на траву и стал смотреть на мужика, на лодку, на маленькую деревеньку у Амура.

— Лодку справил, — смахнул мужик со лба пот рукавом. — Без лодки на Амуре никуда.

— А я нынче тоже с обновкой, — не удержался Алексей, похвастал. — Видал, какие олоченки? — вытянул он ногу. Славные олочи: сшиты из сивучьей кожи, с короткими, по-летнему, голяшками, у щиколоток плотно стянуты шнурками. — Гиляк один давеча дал. Я ночевал у них, стал утром сапоги-то надевать, а там и пальцы уж наружу... Он посмотрел на это дело да и принес мне олоченки. Ноги как в санях, — притопнул Алексей, — легко, мягко, удобно.

— А ты куда путь держишь?

— Домой иду, сынок, к своей старухе.

— Шибко соскучился?

— Ага, — заулыбался Алексей. — Во, — достал колечко из котомки, — суперик ей несю. Красивый? — Он повертел колечко: камушек вспыхнул, заиграл на солнце.

— Красивый, — почесал мужик затылок. — А ты кто такой?

Алексей наскоро рассказал, кто он, откуда и куда; мужик присвистнул, но смолчал.

Между Амуром и селом лежал просторный луг, заросший таволгой и белой кашкой. На нем паслись пегая лошадь с жеребенком. Жеребенок то и дело звонко ржал, и всякий раз лошадь негромко всхрапывала, будто на ухо ему что-то шептала. Где-то далеко заквакали лягушки, в траве кузнечики трещали, что-то бормотали волны, и только молча, задумчиво и нежно в небе догорал закат. Старик улыбнулся, сам себе сказал:

— Слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение.

— Да, мир уже два года, — подхватил мужик. — Живем! — хлопнул Алексея по плечу. — Пошли ко мне! Лодку обмыть надо... у меня маленько есть.

Хозяин лодки с певучим именем Петро дорогой насобирав еще едва не полдеревни. Народу в избу-то набилось! Где все рассядутся? — заволновался Алексей. Но ничего: кто принес лавки, кто самогон еще, а кто закуску: места и еды хватило всем. Старик сел с краю, в самый неприметный угол, и про него тотчас забыли, только сидевшая рядом баба в цветастом сбившемся платке кое-когда спохватывалась, говорила:

— Ешь, дед, не стесняйся, макай лук в соль-то, — и подвигала миску с серой солью. — На вот еще рыбы...

Но Алексей и без уговоров налегал на рыбу. Он тоже чуток выпил, покраснелся, поглядывал на всех веселыми глазами и мял беззубым ртом вареные головы кеты.

— Хорошо живете, — одобрил Алексей.

— Да это только то, что рыба. Мне сестра писала из России — там прямо голод, а нас Амур кормит, без него бы тоже край. Галя, — прокричала через стол она, — завтра пошлешь своих ребят за земляникой?

— Ой, а у нас той земляники! — вспомнил Алексей. — Ты веришь, ведрами таскали. Я раз пошел... — Но соседка, сняв с головы платок, вытирала им потное, разгоряченное лицо и что-то громко толковала той же Гале.

Алексей умолк. Хотя ему вдруг захотелось говорить, смеяться, рассказать про земляничные поляны, про черемуху у дома... Но никто его не слушал: шум, голоса наперебой. Старик прислушался. Бабы толковали, что в лавку бумазейку привезли и надо брать скорей, пока не расхватали. Мужики про лодку говорили: мотор бы к ней еще, так вообще цены не будет.

А между тем стемнело. На печке стихли и уснули ребятишки. В открытую настежь дверь тянуло свежим речным ветром и запахом цветущих огурцов.

— Лампу зажечь надо, — сказал Петро.

— Мы мимо рта и так не пронесем, — заверила соседка Алексея.

Но хозяйка уже несла большую керосиновую лампу, затеплила фитиль; он потрещал немного, ярко вспыхнул, метнулся по углам и осветил бревенчатые стены цвета янтаря. Петро только сейчас заметил Алексея. Он, видно, крепко выпил, забыл про гостя и теперь никак не мог понять, кто тут такой. Ты кто? — спрашивал взглядом старика, удивленно приподняв пшеничные густые брови.

— Ты кто? А-а! — радостно улыбнулся, что-то вспоминая.

Ну вот, узнал, подумал Алексей.

— А-а! — повторил Петро, глядя на старика, и грянул:

*По диким степям Забайкалья,
Где золото роят в горах...*

Соседка Алексея подхватила сильным грудным голосом:

*Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.*

«Вы про меня поете, что ли? — хотел сказать им Алексей. — Да я до Забайкалья не дойду». Но песню подхватил третий, четвертый голос, и сникшая гулянка встрепенулась, снова выровнялась, пошла привычным песенным разливом. А старик сморился, носом заклевал. Сквозь дрему слышал, как мужики перенесли его на залавок возле печки, как кто-то сказал: «А он на деда Тихона походит», и тут же провалился в крепкий сон.

Назавтра вышел рано, на рассвете. Луг, где вчера стояли лошадь с жеребенком, мерцал густой росой, дышал прохладой. Любил старик такой вот тихий час рассвета, когда Амур, закутавшись в туман, как в белую шалюшку, еще спал, когда в прибрежной заводи всплывали из воды кувшинки, а солнце чуть подсвечивало золотой каемкой облака.

Начинался новый день. Июль, жара и дали в синей дымке. Алексей разулся, закатал повыше гачи, пошлепал босиком по мелководью, распугивая задремавших на воде стрекоз. К полудню он совсем сморился, нашел тенек под кленами и лег. Сквозь белый клевер прорастали одуванчики. Алексей сорвал один — с отцветшей легкой шапкой, три раза дунул: «Дед ли бабка?» Вышла «бабка». Значит, жива еще моя старуха, решил он. А то какие-то все думки, думки... как непрошенные гости, лезут в голову.

Где-то в лесу кукушка прокричала целых семнадцать раз — кому-то посулила долго жить. Недалеко кузнечик стрекотал, звенели комары, жужжали в цветах пчелы... Алексей уснул. Ему приснилось, будто бы он дома, и в доме метляки летают, шуршат и шебуршат большими крыльями. Проснулся он от шороха дождя: крупные капли скатывались по листве, как будто мотыльки кругом летали. Вот что и сон такой мне, Алексей поднялся.

Берег пуст, нигде от дождика не скрыться. А ладно, под дождем пойду, подумал Алексей, он летом теплый. Глядишь, еще и подрасту, как гриб. А то я что-то уж совсем согнулся, приду домой — старуха не узнает. Скажет: согнулся дедушка мой, растет в землю...

Дождь скоро кончился, и показалась радуга — как мимолетная улыбка неба. Один конец улыбки прятался в синих амурских сопках, другой висел над головой у Алексея. А небо! Ах, какое было небо: и на тот свет уйдешь — в глазах будет стоять. После дождя над берегом плыл легкий пар, остро пахло иван-чаем. Воздух так прозрачен, так промыт, прочищен, что Алексей едва не за версту углядел прибрежную деревню. Видно, суббота, люди бани топят. Он постучался в крайнюю избу: переночевать можно? Можно. А в баню сходить?

— Дочка сейчас помоеется, и ты пойдешь, — ответила хозяйка.

Хозяйке было лет под сорок, звали ее Анной. Высокая, с худым темным лицом, она казалась старику не то сердитой, не то опечаленной. Но стакан чая все же налила, поставила на стол лепешки.

Алексей сел за стол и огляделся. В бревенчатой избе было прохладно, как в бору сосновом. Пахло цветами. На столе в широком глиняном кувшине стоял букет полевых цветов: васильки, ромашки, таволга, белая кашка, колокольчик синий... Наверно, тоже искупались под дождем — лепестки еще сияли влажным мягким блеском.

— Дочь нынче шла с покоса да и нарвала, — поправила цветы хозяйка.

— Девичья отрада, — улыбнулся Алексей.

— Ну, хоть эта ей отрада, — вздохнула Анна. — Дочь у меня красавица, да вот беда — хромает. Три года назад на пахоте ногу повредила, надо бы сразу в город да к врачам, а мне, дуре, невдомек. Ехать далеко, а тут дел непроворот: ладно, говорю, Настя, обойдется, заживет и так. А вот тебе и ладно! Нога месяц поболела да и зажила, только с тех пор дочь хроменькая стала.

— Это, милая, еще не горе, — попробовал ее утешить Алексей. — Жива, и слава богу.

— Где ж не горе? — сердито посмотрела Анна. — Дочке девятнадцать лет. Вечером парни, девки соберутся у околицы: вот уж они поют, вот пляшут, гармонь за полночь играет... Одна моя Настя у окошечка сидит. В девках, в вековушках, ведь останется. Я уж и так, и сяк к ней: сходи, родная, на вечерку, платье новое надень... Нынче справила ей платье: юбка-шестиклинка, васильки по полю — ой, до чего к лицу! — В сенях скрипнули половицы. — Тс-с, — прошептала Анна, — ничего при ней не говори.

Дверь отворилась, пахнуло свежестью и чистотой — в избу зашла Настя.

— С легким паром!

— У нас гости? — улыбнулась Настя. — Если пойдете в баню, там воды еще осталось много.

Заботливая, думал старик, глядя на милое девичье лицо с легким румянцем после бани, с застенчивыми серыми глазами. Прихрамывая, Настя подошла к окну и распахнула створки. На улице смеркалось, в открытое окошко стало слышно, как где-то далеко гармонь играла, и чей-то голос пел про тонкую рябину. Да, счастье на крыльях, а горе на костылях, пригорюнился старик.

— А тут уже твоя подружка прибежала, звала на вечерку. Кудри вот такие навела, — усмехнулась Анна. — Сходи, Настенька, надень новое платье да сходи. Плясать не можешь, так хоть так постой.

— А ты вот как сделай, — встрял старик. — Я тебя подучу: сейчас уж так никто не пляшет, не умеет, только в наше время так могли, — улыбнулся он, вернувшись памятью назад на полвека. — Есть какой парень по душе? — спросил Настю. —

К нему подходишь и вот так ногами: тук-тук-тук, — притопнул Алексей по полу олочами, — а сама поешь:

*Вставай, Дрема, вставай, Дрема, в хоровод,
Взгляни, Дрема, взгляни, Дрема, на народ!*

— Ой, перестаньте! — всхлипнула Настя, закрыв лицо руками. — Да что же это, а? Да что же... — бросилась в комнату она.

Нет, не понравилась ей что-то песня, горевал старик, шагая в темноте по огороду. Баня на задах стояла, у разросшихся кустов калины, сквозь резные листья чуть поблескивала маленьким оконцем. И дух парной, и воды много, а не в радость баня. Черт меня дернул с этой Дремой, корил себя старик. Он кое-как помылся, простирнул рубаху, вышел из бани.

Вот и ночь настала. Кругом ни огонечка — спит деревня. Прикорнула под июльским звездным небом до зари. Спят люди, дремлет ветер, даже в далекой звездной колыбели младенец-месяц убаюкался, уснул, и только где-то у реки негромко гармонь пела.

Народу на Амуре было много: шли лодки, шла кета, шли сенокосы. Он ночевал в душистых стогах сена, в чьих-то избах, а то и просто так, на берегу: когда один, когда с артелями усталых, пропахших речным ветром рыбаков. Лето на дворе — укрылся небушкой и спи. Сколько дней прошло? Кто знает, Алексей со счета сбился. Много, наверно: уже спеет, колосится рожь.

Старик прошел через ржаное поле, полное цветущих васильков, шума колосьев, стрекотания кузнечиков, писка мышей, знакомых звуков потаенной жизни поля. Шел, а за шиворот нет-нет да сыпались горячие, как угольки, ржаные зерна. Он разжевал одно зерно — хрустит, поспело. В такую-то жару хлеб быстро поспекает...

Воздух звенит от зноя, никнут травы. Пока добрался до деревни, весь облился потом, будто в Амуре искупался. Улица пустынна, попрятались все от жары, лишь куры роются в пыли, да у забора спит в теньке собака. Она лениво гавкнула на Алексея, из-за забора выглянул старик. Годок мне будет, подумал Алексей. Только покрепче: старик был крупный, крепкий, и зубы все на месте.

— Пить не дадите?

Старик открыл калитку, Алексей зашел. Справно живет: к крыльцу дощатый тротуар, печь под навесом, а рядом бочка с дождевой водой, вся оплетенная цветущими вьюнками.

— Ты лапти-то скидай, а то натопчешь.

Алексей снял олочи и долго тер босые ноги о тряпичный разноцветный коврик, смущенно наблюдая, как коврик тут же покрывался дорожной пылью и речным песком. Он прошел в избу, стал разглядывать чужую жизнь: куда с добром люди живут — и самовар есть, и буфет дубовый! И та же летняя, блаженная прохлада деревенских изб...

— Зина, — крикнул хозяин в открытое окно, — носи квас нам. Невестка, — пояснил он Алексею. — Сын у меня в начальниках, с утра до ночи крутится, а мы с невесткой по хозяйству. Да я уж так, — смахнул он муху со стола, — где грядку прополю, где в печку дров подкину: на покое нынче.

— Хорошо живешь, — одобрил Алексей, садясь к столу.

— Не жалуюсь, — тот засмеялся. Вошла невестка — красивая статная баба в летнем сарафане, поставила на стол большой жбан кваса с запотевшими боками. — Ох, и холодный, — налил хозяин квас в кружки. — Только что из погреба. Я сам квас делаю, он постоит-побродит... ну, хорош! А ты откуда сам-то?

Алексей сказал, откуда и куда он.

— Сидел, что ли? — переспросил старик.

— Но. От тюрьмы да от сумы не зарекайся, — вспомнил вековую мудрость Алексей.

— Выходит, и в тюрьме ты посидел, и теперь с сумою ходишь? Везде поспел? — хозяин засмеялся. — Ловко! Наш пострел везде поспел! За что же тебя бог так наказал? — с любопытством посмотрел на гостя. — Грешил, наверно, много?

— Грешил, — согласился Алексей.

— У нас три дня назад у одной бабы хлебные карточки пропали: то ли потеряла, то ли кто украл.

— Не брал я, — испугался Алексей. — Меня три дня назад тут даже не было.

— Не это, так другое. Кто по-людски живет, нищим не бродит. Возьми меня, к примеру. Хорошо живу, ты говоришь? А потому что заслужил: всю жизнь работал, сына в люди вывел, никого не осуждал. На другого поглядишь — он слова доброго не стоит, а я его не осуждаю. Я даже и тебя не осудил. Хотя кто ты такой? — сплюнул. — Голь перекатная, куски выглядываешь ходишь, а я тебя не осуждаю.

У Алексея выступили слезы:

— Ну что ты привязался-то ко мне?

— Я еще и привязался! Я тебя в избу пустил, квасу дал напиться, а ты меня же и ругать? Вот чем ты платишь за мое добро, — покачал он головой. — Не зря же тебя бог так наказал.

— Эх, ты, — всхлипнул Алексей. — Эх, ты... по-русски плакать не умеешь.

Он выскочил за дверь, схватил олочи и — за калитку, побежал по улице. Собака у забора подхватила, следом кинулась с заливистым веселым лаем. За ней откуда-то взялась вторая, выскочила третья; старику казалось, что за ним бежит огромная свора собак, и каждая на свой лад лает: «Не зря же тебя бог так наказал!»

Он выбежал за околицу и оглянулся: собаки стали потихоньку отставать. Алексей упал на землю. Над головой сомкнулись луговые травы, в зеленоватом полумраке было видно, как по земле, цветам, травинках ползали жучки. Которые были в узорах, в ярких красных платьишках, а которые и так ползли, без всякого наряда. Разглядывая их, он успокоился, затих, как вдруг издалека донесся до него протяжный женский голос:

— Алексей! — Старик радостно вскочил: кто тут зовет его? Кто окликает? У околицы стояла женщина в цветастом летнем платье; прикрыв рукой глаза от солнца, она звала протяжно: — Алексей!

Он подхватил котомку, кинулся бежать к ней, но рядом отозвался чей-то голос:

— Что, мамка?

Старик оглянулся: мимо него шел с удочкой мальчишка в сатиновых коротковатых шароварах: светлые волосы, весь загоревший, босые ноги в кровь расчесаны от укусов комаров. Что-то далекое, знакомое, родное проглядывало и в его выгоревших волосах, и в гибкой удочке, и в быстром легком шаге...

— Опять рыбачить ухлестался? Я тебе сказала, чтоб воду в бочки наносил, сохнет в огороде все.

— Успею, — остановился тот, задумчиво почесывая ногу. — До вечера еще не скоро.

Мальчишка мельком посмотрел на Алексея, чему-то улыбнулся, пошел дальше. Старик заторопился следом — да разве же его догнать...

Спит Алексей. Тихи, прозрачны звуки летней ночи: то пролетит над головой шальная птица, то ветер прошумит в траве, а то заплещет быстрая волна. Поднялись

в небо Кичиги, прошли макушкой неба, снова вниз спустились... Звездные ходики не надо заводить, сами идут по небу: не отстают, вперед не забегают, не ломаются.

Проснулся поздно: туман уже покочевал с Амура в сопки. Старик развел костер, долго пил чай, смотрел, как в тихой заводи всплывали желтые кувшинки. Потом начал считать, который день сегодня, и по всем подсчетам вышел август, число восьмое, если не девятое.

— До холодов дойду, ли нет? — поднялся Алексей, пошел. — Надо идти, иначе край мне. — Он посмотрел вперед: пустынный берег без усталости шел вдаль, как вечный путник: за горы и леса, и за луга со скошенной уже травой.

Издали донесся голос: «Майка, Майка!» Алексей взглянул: берегом бежала баба, кричала во весь голос: «Майка!» Он остановился.

— Корову не видал тут? — подбежала баба. — Пестрая такая. Не видал? Вот горе, — села на валежину она. — Третий день ищу, с ног сбилась. Кто-то сказал, что вроде тут, на берегу, коров каких-то видел, — сняла она платок и вытерла сухие, спекшиеся губы. — Если не найду, хоть в петлю! Четверо ребят, свекровь больная, а я одна кручусь как белка в колесе. Без Майки пропадем, — поднялась устало баба. — Ну, если где увидишь пеструю корову, со звездочкой во лбу, гони ее в деревню. Тут километров восемь будет, мой дом крайний. Спросишь Фросю.

И еще долго старик слышал: «Майка, Майка!» В полуденной дремотной тишине ему не раз казалось, что где-то рядом, совсем близко звенит негромко колокольчик: динь-динь-динь... Но это пчелы над травой жужжали, стрекотал кузнечик, пела иволга. Потом послышались раскаты грома. Старик глянул — с того берега Амура шла гроза. Она была короткой, быстрой — пролетела, как табун коней по полю. А вымок он до нитки; долго сушился, разложив костер, и незаметно сам возле костра вздремнул.

Только под вечер Алексей добрался до села. Амур здесь жил своей обычной сельской жизнью: у берега плескались ребятишки, бабы воду ведрами таскали. Все, как у нас, подумал Алексей, даже пристань есть. Зашел в село, и здесь все то же: тот же колодец с журавлем, те же подсолнухи на огородах, стук топора, черемуха возле забора... Он подошел к крайней избе, открыл калитку: Фрося уже дрова колола возле сараюшки.

— Ну что, нашла корову?

— Да где там, — с размаху хлопнула по чурбаку: поленья так и разлетелись, как орешки. — Все, с концом! Хоть матушку-репку пой, — вытерла она глаза. — Ну, иди в избу, скоро ребятишки прибегут, есть будем. — Алексей взялся за дверь, потянул, но дверь не открывалась: к земле плотно присела. — Да ты ее немного вверх приподними, — крикнула Фрося, — тогда она откроется. Тяни, тяни вверх посильнее!

Старик зашел в избу. Каждая встреченная изба ему казалась такой теплой, милой, что почему-то подступали слезы. Вот и сейчас, глядя на печь — какую-то всю добродушную от множества выступов, карнизов и печурок с сохнувшими травами — он заморгал глазами, стал топтаться у порога. Возле печи вдруг колыхнулась занавеска, раздался тихий голос:

— Фрося?

— Да это я тут, — подошел к старухе. — Заболела, што ли?

— Зажилась совсем, — ответила она, глядя на Алексея не по-старушечьи яркими, как васильки, глазами. — Третий год лежу. Сядь, посиди, — старуха отодвинулась, и он присел на край залавка. — Беда у нас, корова потерялась, — погладила она руку Алексея. — Фроська как с ума сошла. Я уж боюсь, как бы она сама где не пропала, до ночи бегают, все ищут...

Дверь заелозила, приподнялась, и вошла Фрося с ребятишками. Три сына — в мать, тоже кареглазы и темноволосы, а девочка, видно, в отца: с такими же, как у старухи, васильковыми глазами. На шее у нее было оранжевое ожерелье из крупных ровных бусин. Приглядевшись, старик признал в них спеющие ягоды шиповника.

— Налетайте, — поставила Фрося на стол чугунок картошки в мундирах, нарезала малосольную кету, достала огурцы и лук.

Алексей съел несколько картофелин, взял огурец, провел рукой по мелким пупырышкам, положил обратно:

— У меня зубов уж нет.

— А у нас коровы нет, — сказала девочка, глядя на гостя васильковыми глазами. — Кормилица пропала, мамка говорит.

— Что у тебя с дверью-то? — спросил старик Фросю и про себя подумал: не дом, а одна вдовья разруха. — Мне бы доски, дак я бы завтра дверь другую сделал.

— Ой, правда? — обрадовалась Фрося. — Хорошо бы, а то зимой все перемерзнем к черту, того гляди, совсем отскочит дверь. Доски достану. Попрошу у Федора, это председатель наш. Сейчас и сбегая к нему, что зря тянуть время?

Фрося убежала. Федор, как сказали Алексею, жил недалеко, во-он за тем домом. И старик долго у окна сидел, смотрел на вон тот дом, возле которого в лапту играли ребятишки, смотрел, как у колодца разговаривали бабы, как где-то за рекой в селе зажглись огни. Тут и вернулась Фрося:

— Завтра доски привезу! И инструмент Федор дает. Ну, хоть с дверью будем...

Назавтра, ближе к вечеру, когда старик уже навесил новенькую дверь, во двор вбежали ребятишки:

— Федор Кузьмич сюда хромает!

Старик обернулся: в ограду заходил мужик. Как грач весенний в поле, подумал Алексей. Загоревший дочерна, худой, остроносый, он приволакивал немного ногу, ходил вприпрыжку и оттого еще сильнее схож был с птицей.

— Пришел проверить, что ты тут настроил, — сказал Федор старику. — Он долго изучал дверь, то открывал ее, то закрывал, щелкал по доскам, наконец сказал: — Не притерешься. Молодец! — Сел на завалинку, достал кисет, в гармошку свернутую пожелтевшую газету и свернул сигарку. — Что, с лагерей идешь? — внимательно окинул Федор взглядом Алексея. Тот молча кивнул. — А что пешком-то? Денег нет на пароход? Тебе должны были там выдать. Ты же там работал? — Старик опять кивнул. — А что не дали?

— Не знаю, — растерялся Алексей. — Наверно, шибко старый. Все равно помрет, мол, что зря деньги тратить? А я ниче, еще иду. — Он посмотрел на Федора прозрачными, по-стариковски светлыми глазами и удивился сам себе: — Вот дюжий!

— Так ты, выходит, плотник? — Федор закурил, задумчиво разглядывая старика. — Тогда к тебе есть дело. Тут школу надо починить маленько, а у меня в колхозе люди все наперечет — ни одной руки свободной. И плотничать толком никто не умеет. Да у нас был плотник. Савиных сын, Василий: он тебе и плотник, и столяр, и сани гнул, и бочки делал. С войны не вернулся, теперь деревня как без рук. Так ты возьмешься за работу? — спросил Федор.

— Времени, сынок, нет у меня, — признался Алексей. — Скоро осень, а мне еще идти да идти. Я сколько дней тут потеряю.

— Да кто знает, где найдешь, где потеряешь. Оставайся.

И Алексей остался. Жил в сельской школе — старой бревенчатой избе, стоявшей ближе к лесу, у околицы. В ней надо было заменить сгнившие половицы, починить крыльцо и двери, да кое-что еще по мелочи. Федор дал доски, инструменты, дал

в помощники двух хлопцев, определил к соседям столоваться, да еще сказал, что не обидит, заплатит за работу хорошо. Алексей хотел спросить: «А сколько?», но что-то застеснялся, махнул рукой: «Ладно».

Столы и парты вынесли во двор, в пустых просторных классах гулко отдавало эхом. Доски были из осины. Ласковое дерево, радовался Алексей, никогда заноз не оставляет, ребятишки могут бегать босиком. И пролежат эти полы лет тридцать, если не все сорок...

Дней через двадцать, когда на огородах уже начали копать картошку, старик закончил всю работу. Прошел по новым половицам — легли как влитые, и, довольнo глядя на помощника, притопнул олочами:

*Дети, в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно,
Попроворней одевайтесь,
Смотрит солнышко в окно.*

Парень засмеялся, и старик смутился.

— Ты не смотри, что я такой, — заволновался Алексей, — я раньше грамотный был, умный. В школу ходил тоже... Не веришь, да? Смеешься? А и не верь, — он тоже засмеялся. — Я сам себе уже не верю: куда все делось, а? Куда ушло?

День к вечеру клонился. Алексей пошел к Федору в контору за расчетом, но не застал его: с утра в район уехал, может, к ночи будет. Старик сходил проститься с Фросей, вернулся в школу, начал собирать котомку. Суперик, камушек, ракушки — сокровища прожитой жизни... И снова вспомнилось, как встарь учился в школе он у сельского дьячка, и тот, глядя в окошко, спрашивал: «Чему мы можем у птиц небесных поучиться?» А за окном кричали чайки-мартыны и остроносые бакланы. Господи, помилуй... было ль это?

В окне уже глядела ветхая, как вешний голубой ледок, луна, а Алексею не спалось: все что-то в памяти перебирал, будто в котомке шарил, все что-то хотел вспомнить, но что вспомнить? Жизнь была простой и неприметной, как бедный, найденный в песке суперик. Родился, рос... в парнях ходил с артелью плотников по селам. Потом женился — на земле осел, пахал и сеял, плотничал немного, избу себе поставил. Да хорошо поставил так — и в затишке от ветра, и на солнце...

С улицы послышались шаги, кто-то поднялся на крыльцо. Скрипнула дверь, и вошел Федор.

— Не спишь? Рассчитаться с тобой надо за работу.

— Нашел время, — удивился Алексей. — Что, до утра не мог дожждаться?

— Утром поздно будет, — засмеялся Федор. — Спасибо, выручил: все сделал на отличку. Видать, хороший плотник был? — Старик смолчал, не зная, что ждать дальше. — Бери свою котомку и пошли.

Вот это да, подумал Алексей, но делать нечего: надел фуфайку, шапку, взял котомку. Вышли на улицу. «Куда же он ведет меня?» — думал Алексей, проходя мимо последних изб и огородов. Выведет сейчас на берег и ни с чем отправит во-свояси... Стали спускаться к берегу Амура, глухо шумевшему во тьме. И так же глухо, осыпаясь, зашумела под ногами мелкая речная галька.

У Алексея выступили слезы: что же делать? Он подошел к Амуру и сполоснул лицо, встревожив в воде звезды. Послышался неясный шум: как будто стая больших птиц где-то летела. Нет, вроде шум колес, — прислушался старик и вздрогнул: раздался громкий и какой-то радостный гудок. Из-за крутой излу-чины Амура, светясь огнями, выплыл пароход и медленно стал приближаться к берегу.

— А вот и твой расчет приплыл, — подошел Федор. — На деньги, билет возьмешь на пароходе. Тут километров на пятьсот, наверно, хватит, а больше, извини, дать не могу. Вот мать подорожников тебе тут положила, — сунул старику он узелок. — Выйдешь где-то за Хабаровском, но, смотри, там надо осторожно, там граница.

— Да я как птичка пролечу, никто и не заметит, — засмеялся Алексей и, вытирая слезы, обнял Федора.

— Ну, с богом! — Федор подтолкнул его к причалу: — Пишите письма, — засмеялся вслед.

— Я напишу! — крикнул старик уже с причала. — Приду домой и сразу напишу!

Да, сразу, сразу напишу все! Как плыл... а плыл он на открытой палубе, четвертым классом. Народу было много, но он нашел хорошее местечко возле чьего-то узла. Узел большой был, как хорошая копешка сена, и такой же мягкий; он привалился к нему, сразу задремал. Пароход шлепал колесами, мелко дрожал, и старику приснилось, будто он на мельнице, а где-то рядом в омуте плещет большая рыба.

Под утро пароход долго стоял в Комсомольске. Алексей проснулся, стал смотреть, как светятся на берегу огни и огонечки, как по трапу сходят и заходят люди. Уже светало, когда пароход, дав на прощание три гудка, пошел вверх по Амуру дальше. Палубный народ проснулся. Наконец из-за узла, возле которого сидел старик, выглянула молодая заспанная баба с простодушным, чуть растерянным лицом. За ней показались двое ребятишек лет семи-восьми. Ребятишки сбегали за кипятком, набрали в кружку и для Алексея — стали чай пить.

Соседку звали Лизой, ей до Хабаровска, а там еще на поезд и дальше ехать, ехать... В саму Сибирь? Да что ты там забыла? Ну, как что? Я сама оттуда, там у меня вся родова: тетки, дядьки, братьовья... А тут-то я, будто сорока на колу, одна. Муж с госпиталей вернулся, болел-болел, да прошлый год похоронила. Поеду, думаю, к своим, они хоть чем помогут. Продала избу, какое-никакое, а хозяйство было — все подчистую продала и с одним узлом еду. Там поживем пока у брата, у него дом свой, коровенка... я устроюсь на работу, присмотрюсь, а где-нибудь к весне избу себе куплю.

— Эх, глупая ты баба!

Это не Алексей сказал, это мужик какой-то сидел рядом, слушал да и говорит: глупая ты баба, зачем ты все распродала? А что? А то! Деньги скоро поменяют — не слыхала? А я слыхал: говорят, какая-то реформа будет, и все твои денежки в бумажки превратятся, останешься без своего угла. Ой, правда?

— Да болтает он, наверно, — послышался чей-то голос.

И тут как хором все заговорили, вся палуба включилась в разговор. Одни кричат: брехня все это! Другие кричат: правда, и карточки отменят, и деньги пропадут. А когда? Да нынче, в этом же году. Откуда знать-то вам? Земля же слухом полнится!

— Ну, я теперь совсем пропала! С одним узелком останусь, — запричитала Лиза, падая на уzel.

— Да не горюй ты так, не плачь, — сказал ей Алексей. — Но я бы тебе вот что присоветовал: как только приедешь, сразу избу покупай. Не тяни ты с этим делом. Не дай бог, деньги пропадут, останешься с ребятами без своего угла.

Старик устал от шума-гама, нашел безлюдный уголок на нижней палубе. В лицо дышал свежий амурский ветер, нес запах вянущей травы от берегов. Пароход шел медленно вверх по Амуру, мимо островов, проток, песчаных отмелей, озер, и отовсюду поднимались птицы, собирались в стаи, кружились над родными

берегами. Уже готовятся к отлету, понял Алексей. А мимо плыли острова, луга и стога сена, деревни, сельские погосты, а вон дубрава показалась... так бы плыть и плыть до дома!

Назавтра, ближе к вечеру, старик увидел над Амуром кружевной огромный мост. Было слышно, как по мосту стучат колеса — поезд шел. Паровоз дал громкий, с подголосками, гудок, пароход откликнулся, и два мощных гудка пронеслись по Амуру, достигли левого берега реки, подняв с него испуганную стаю уток. С правого борта показался город: высокий каменный утес, набережная, дебаркадер... Возле утеса ласточки стремительно летали. Касатки, улыбнулся Алексей. Такие же, как жили у него под крышей бани.

В Хабаровске они с Лизой попрощались: «Ну, дай бог тебе доехать...» — «И тебе дай бог дойти».

Старик пошел по набережной Амура. А народу-то, народу! И все по парочкам, под ручку — любо глянуть. Принарядились, как на праздник: на женщинах носочки, парусиновые туфли, платья в голубой горох. Толпа людей вынесла его к рынку, где валом продавались рыба и икра. Тут же старухи продавали пестрые георгины, золотые бархатцы и астры — последние, уже сентябрьские цветы. От них шел терпкий запах осени, пустеющих садов и палых яблок.

— Старье берем! — раздался где-то громкий голос. — Старье берем!

Алексей прошел через ряды и вышел к мужику, возле которого гурьбой толпились ребятишки. Они ему несли старые штаны, калоши, рваные ботинки — все, что попало. А он не брезговал, брал ветошь, взамен давал расчески, мячики, резиновые куклы, леденцы... Прямо чудо, засмотрелся Алексей на эту оживленную торговлю. Старьевщик — расторопный бойкий парень — взглянув на Алексея, вдруг сказал:

— Ну, нет, тако старье, как ты, мы не берем. Ты, дед, уже землю пахнешь. — Все засмеялись, а тот, довольный своей шуткой, в мешке порылся, вынул леденец: — На тебе, дед, и ходи мимо.

Алексей заторопился мимо, стесняясь своей ветхой, бесприютной старости. Туда же лезешь, куда люди, корил он себя. Будто настоящий... Ему казалось временами, что он давно ненастоящий, давно умер, и лишь душа его скитается по свету, рвется к дому. Придет же в голову такое? А нет-нет да и придет.

С реки призывно подал голос пароход. Алексей подхватился: опоздаю? Нет, он не опоздал, успел к отходу. На дебаркадере было полно людей: кого-то с музыкой, с баяном провожали. И еще долго, стоя на палубе, старик слышал, как с берега кто-то кричал «Пиши!», играл баян и два глубоких сильных голоса негромко пели:

*Вернулся я на родину,
В полях березки стройные...*

— Вернись и я на родину, — шептал старик, — вернись, уже недолго...

Под утро Алексей сошел возле какого-то села. Пароход тут же отчалил; он пошел следом, глядя, как убегают вдаль сигнальные зеленые и красные огни. Но вот за дальним кривуном исчез последний огонек, стихли встревоженные волны, и Алексей остановился. Сколько там натикало? — посмотрел на небо. Звездные ходики показывали часа три-четыре. Старик сел на песок и начал ждать рассвета. А до чего ночь лунная была! Даже видно, как на другом, китайском, берегу Амура светят огни, белеют паруса небольших джонок.

— Зарничка, — улыбнулся Алексей.

На побледневшей кромке неба зажглась, как свет в окошке, утренняя яркая звезда. Рассвет был поздний. Дни уже жарко, но еще тихо, солнечно, тепло. Весь сентябрь мой, думал Алексей дорогой, Бог даст, до холодов еще дойду.

Дорогу преградил прозрачный редкий березняк, старик пошел через него по чуть приметной тропке. Стук дятла, шум листвы и голос ручейка... Голос был тихий, чистый — слушал бы и слушал. Старик сбросил котомку, присел на берегу, закрыл глаза. «И где ты был, где пропадал все это время?» — как будто выговаривал ручей. «А я тебя все время вспоминал», — ответил Алексей, и это правда. Было такое: когда совсем невмоготу, он вспоминал такой же ручеек, бегущий у него за огородом, и почему-то становилось легче.

Алексей вздрогнул, ему вдруг показалось: кто-то на него глядит. Кто тут? — поежился под неизвестным взглядом. Да никого нет, а тревожно стало. Он быстро встал и торопливо пересек березовую рощу, вышел опять к Амуру. По реке шел небольшой буксирный пароход, тащил за собой баржи с лесом. Речной ветер нес к берегу смолистый свежий запах недавно вырубленных пихт и елей. Навстречу пароходу выплыл из-за острова китайский бусс — барка с белым парусом. На вершине мачты старик разглядел флюгер — усатого дракона с красным, развевающимся по ветру хвостом. Шумно рассекая волны, бусс поднимался вверх по реке.

Послышались шаги, старик торопливо обернулся: к нему шли два молодых солдата в зеленых фуражках. Молча подошли и сразу: «Документы!» Алексей растерялся, кое-как достал бумаги, но солдат, почти не глядя, сунул их себе в карман:

— Пойдешь с нами на заставу.

— Отдай! — кинулся Алексей. — Отдай мои бумаги!

Куда там, подхватили, повели... Шли долго, быстро, молча, раз только один солдат, с виду попроще, заговорил, и Алексей понял: он что-то нарушает. Старик совсем сробел, уже не видел, как куда-то шли, пришли... Он оказался в коридоре с тяжелыми дверями, прислонился к стенке. «Судить меня опять ли, че ли, будут?» — думал Алексей. Мысль билась вяло, будто мышшь в когтях у кошки, и сильно пить хотелось: в горле пересохло.

— Сынок, похлопочи там за меня, — сказал солдату, приведшему его к тяжелой двери. — Что я такого нарушаю?

— Там разберутся. Командир заставы знает.

Все, как в тумане, пропадало. Большая комната, столы и стулья, тот самый командир — красивый, с проседью, в погонах — внимательно читал его бумаги. Но сколько ни втолковывал ему старик, что он домой идет, к своей старухе, детям, внукам, тот ничего так и не понял. Встал на своем: ты нарушитель пограничного режима, граница здесь с Китаем, и чужим ходить нельзя. Да разве я чужой? Я здесь родился, вырос, жизнь прожил... Нельзя, и все тут. А где можно? За пятнадцать километров от Амура.

— Да ты совсем сдурел, — опешил Алексей. — В тайге? Я же там сразу околею!

Тот хлопнул по столу сердито, Алексей и замолчал. Что ни скажи, все невпопад — вот горе!

— Связался черт с младенцем, — проворчал тот, взял бумагу, ручку. — Рассказывай все по порядку: где сидел, за что? Что, сам не знаешь?

— Пошто не знаю? — удивился Алексей. — Дело так было: собрались как-то мужики у нас в селе за разговором. Слово за слово, ну, я возьми да и скажи: «Народ бросает землю и уходит в город, а кто будет хлеб растить?» Меня через пять дней забрали. У стен-то уши есть, сынок, сам знаешь.

Капитан оглянулся, пригладил волосы и снова за свое:

— Рассказывай: где вышел, как сюда добрался? Ты много-то не сочини, — сурово посмотрел на Алексея. — Кто тебе поверит, чтоб ты Охотским берегом один прошел? И по Амуру шел пешком? — Он даже засмеялся: — Ну, горазд врать!

— А я не вру, спроси, вон, хоть у Федора.

— Кто такой?

— Один хороший человек... — Старик улыбнулся, вспомнил: — Он мне еще сказал: «Пишите письма». Как куда? Ему в деревню. Постой-ка, — ахнул Алексей, — я же не знаю, как деревня называется! Куда писать? — заволновался он. — Деревня небольшая, на пригорке, колодец с журавлем, подсолнухи цветут...

— Посидишь у нас да вспомнишь. — Капитан подал ему бумагу, ручку: — Распишись вот здесь. Ты теперь задержан до выяснения всех обстоятельств.

Котомку-то — и ту даже себе забрал!

Сидел он в тесной комнатухе с маленьким оконцем, выходящим в сопку. На ней росли березы, клены, кусты барбариса, доцветала розовая таволожка. Старик по целым дням стоял возле окна, смотрел, как пробирается по сопке осень: вот начали желтеть березы, вот зазелели клены, барбарис поспел... Мир на глазах старился и ветшал. По ночам старик слышал крики улетающих птиц. А то еще поднялся такой ветер, что оборвал с деревьев чуть не всю листву. Тут Алексея вызвали к тому же капитану. В комнату зашел и сразу увидел свою котомку: лежит, калачиком свернувшись, на столе. Алексею стало горько. Он вдруг подумал, что какие-то чужие люди в нее заглядывали, будто ему в душу, и видели там хрупкие ракушки и, наверное, смеялись.

Алексей вышел за заставу. С ним была котомка, документы и даже одна важная бумага, с которой, как ему сказали, можно теперь идти Амуром. В тот день было восьмое октября. Месяц как корова языком слизнула...

Путь до соседней деревушки лежал проселочной дорогой через лес. Старик прошел две-три версты, как вдруг накрапывать стал дождик. В лесу запахло, будто в выстуженной бане: березовыми вениками потянуло от намоченных листьев. Все сразу заскучало, замолчало и только слушало шум мелкого осеннего дождя. Ндолго, видно, зарядил, подумал Алексей, глядя на небо в хмурых тучах.

— Это сироты плачут, — бормотал он. — У нас в деревне мелкий дождь так называли: сиротские, мол, слезы полились.

Дождь припустил сильнее, как будто разом заплакали все сироты, какие только есть на свете. Что ж вы расплакались-то так, что разрыдались? — остановился Алексей. Прислушался: и правда, вроде кто-то рядом плачет. Он оглянулся: кто тут? Никого, одни деревья мокнут под дождем, осенние листья роняют. Но снова через шум дождя и шорох листьев услышал заунывное рыданье, причитанье, безутешный плач. Казалось, то не ветер шумит в кронах, а кто-то в голос завывает, причитает: «На кого ты нас покинул?»

Алексей не выдержал, пошел быстрее, даже побежал. Лес поредел, раздвинулся; он выбежал к опушке и остановился: похороны... Кладбище на взгорке, заросло березами, где-то за их белыми стволами виднелась свежая могила, кучка людей возле нее.

Он подошел, перекрестился, бросил горсть мокрой земли. Было слышно, как сзади зашептались, зашушукались старухи: «Странника прислал Бог». Два мужика быстро засыпали могилу, стали ставить деревянный крест; старуха-плакальщица в черном платке вновь запрычитала: «На кого ты нас покинул?» Потом достала из-за пазухи краюху хлеба, чуть покрошила на могилку: «Птичкам угощение». Остатки завернула в старенькое полотенце, протянула Алексею:

— А это уж тебе, бери. По нашему, по старому обычаю: кто первый встретится на похоронах, тому краюшку хлеба, чтоб не забывал молиться о покойном. А как сам помрешь, он тебя первый встретит на том свете. Да ты его сразу узнаешь: у него тут, на щеке, шрам.

— За кого молиться?

— Иваном звали, кроткий старичок был, голубиная душа. Ой, до чего склизко, — старуха поскользнулась, ухватилась за его фуфайку. Они уже спускались с кладбища, шли последними, и старуха не спеша рассказывала Алексею: — Вон впереди сын его Трофим да невестка Галя, да три внука, за ними мужики, что хоронили, да еще старухи собрались со всей деревни — ну, с тобой, наверно, человек пятнадцать за стол сядут.

Алексей оглянулся. Как в церкви перед службой, было тихо. Шумят верхушками березы, дождик моросит, чирикают чуть слышно птицы, и все это сливалось в тишь печального погоста. Вдруг впереди раздался громкий голос:

— Вот настанет осеннее утро...

— Трофим, — вскинулась старуха, — ну-ка у меня! — Голос умолк. — Опять петь вздумал, — покачала головой она. — Никакого разуменья у людей нет нынче. Куда мир катится, скажи на милость? Прямо беда: толком ни родиться, ни жениться, ни похорониться! Я тут одна осталась, кто обычай старый мало-мальски знает, так меня кругом: «Наталья, окрести ребенка, Наталья, похороны справь...» Ну, побегу вперед, а то без меня даже на стол толком не поставят.

Уже виднелась деревенька: давно опустевшие огороды, темные плетни и мокрые рябины, лошадь у забора... Алексей зашел в избу, снял шапку и перекрестился в угол. Божницы нет, стакан с водой, накрытый куском хлеба, стоял на подоконнике. Пол уже вымыт, бабы торопливо накрывали в комнате столы.

— А странника сюда посадим, — подошла Наталья. — Сюда садись, рядом со мной. Ой, че-то ты шибко растрепанный, дай-ка в божий вид тебя хоть приведу. — Она пригладила Алексею волосы, одернула рубаху, застегнула ворот и, отойдя, полюбовалась на свою работу: — Ну, совсем другое дело! Так и сиди тут, Божий человек. — И, нараспев, печально затянула:

Как ходил грешный человек да по белу свету.

Чего тебе надобно, грешне человек?

Ничего не надо грешну человек: ни злата, ни серебра.

Только надо грешну человек

Хоть одна сажень земельки да четыре досточки.

— Давай скорее, мужики торопятся, — подошел Трофим. — Им еще сегодня вилами в коровнике махать.

Сели за столы: кутья, щи, каша пшенная, рябиновый кисель... Все разом стихли, глядя на Наталью. Та встала, медленно перекрестилась: «Упокой, Господи, душу новопреставленного раба Твоего Ивана и прости ему вся его согрешения, вольные и невольные, и даруй ему Царствие Небесное».

Ну, земля пухом... А какой был человек! Тише воды, ниже травы! Недаром Бог ему смерть легкую послал. Вот только вышел за калитку и вдруг легонечко упал на землю. Жизнь была тяжелой, зато легкой смерть. А вот еще какое чудо: откуда ни возьмись, на похороны пришел странник. — Тут все на Алексея глядеть стали, и он смутился, в стол уткнулся. — Ведь это тоже добрый знак! Добрый, добрый: чем-то Богу угодил покойник. А главное, что дождь сегодня: если в день похорон начнется дождик, значит, человек ушел хороший. А поглядите, хоть нарочно, какой дождь...

Все поглядели за окошко. К стеклу с улицы прибился мокрый зябкий лист рябины, заглядывал к ним в избу и в тепло просился. Но дунул ветер, подхватил листок да и понес его куда-то. Опять раздался голос:

— Вот настанет осеннее утро...

Наталья шикнула: — Трофим!

Тот огрызнулся: — Ты тоже сейчас пела.

— Да я какую песню пела? Древнюю, духовную. Она-то как раз к месту. Она о чем нам говорит? Не надо нам ни серебра, ни злата, не надо никакого нам богатства, а только о душе бы думать, с чем туда придем. А мы лишь для богатства и живем, только о нем печемся.

— Да что ты собираешь-то? — Трофим рассердился. — Какое у отца было богатство? Вон, пара старых валенок, и все.

Наталья губы в ниточку поджала: «Да это же я к слову, по обычаю...» Но тут все стали хором говорить про то, как подшивал Иван всем те же валенки в деревне и хоть бы раз взял за работу горсть муки; про то, как он в войну косил в колхозе сено, хотя уже тогда был хворый... И многое услышал Алексей про неизвестного ему Ивана, отправившегося в путь вся земля.

Да, хорошо Ивана проводили, думал старик, лежа ночью на печи. И стол хороший был, и говорили ладно: все по-людски... всем бы помереть так.

С тем и уснул. Но среди ночи он проснулся — громко стукнула заслонка. Старик пригляделся: Трофим присел у печки, открыл заслонку и закурил, пуская в печку дым. Огонек папиросы вспыхивал, и при его свете Алексей видел, как мужик кривился, морщился, тер ладонями глаза. Докурив, Трофим пригнулся к печке и запел. Пел шепотом, тихонько, чтоб никого в избе не разбудить, но Алексей услышал его песню, таившуюся целый день в душе:

*Вот настанет осеннее утро,
Будет дождик слегка моросить.
Ты услышишь протяжное пенье:
То меня понесут хоронить.
Из друзей моих прежних, наверно,
Знать, никто не придет провожать,
Только ты лишь, моя дорогая,
Будешь слезно над гробом рыдать.*

...Это гусиное ненастье наступило: летели гуси к югу, вот и дождик моросит. Дождь шелестел по крышам, по окошкам, и так он прошуршал, прошелестел дня три. Потом разяснило немного, выглянуло солнце, и Алексей засобирался в путь-дорогу.

— В такой обуви далеко ты не уйдешь, — сказал Трофим, разглядывая его олочи, — сразу обморозишь ноги. Надевай отцовы валенки с калошами. — Алексей отнекиваться начал, но тот принес еще и старенький ергач — доху, пошитую из шкур дикой козы. Все впору оказалось, только в валенки пришлось немного натолкать серой ваты, а ергач сел как влитой. Трофим потрогал козий мех и удивился: — Сколько лет отец в нем проходил, а все сносу нет.

Алексей вышел за село. Едва светало, серебрился иней. В рассветной мгле задумчиво и робко мерцали трава, деревья, потемневший от дождей стог сена, стоявший бобылем на скошенном лугу.

Старик пошел проселком через лес. Над головой, как крылья ветряка, шумели метровые листья маньчжурского ореха. Было слышно, как с глухим стуком на землю падали орехи величиной с куриное яйцо. Орехи Алексей не стал брать — их ничем не расколоть, зато набрел на заросли дикого винограда, наелся от души таежных ягод с вяжущей кислинкой. Чуть поодаль, в глубине оранжевой листвы, пировал веселый юркий поползень.

— Что, вкусно? — улынулся Алексей.

Птица перемахнула на соседнюю березу; ветка качнулась, осыпав старика дождем холодных капель и осенних листьев.

День выдался теплый, но сырой, а кое-где под ворохом опавших листьев тайком лежали маленькие лужи. Алексей тут же ноги промочил, валенки захлюпали, жалуясь на старость, бесприютность, на то, что свое отходили и хотят покоя, лежать бы им теперь в тепле по-стариковски... Алексей послушал их, вздохнул, заторопился: где там косогор? Трофим сказал: «На косогор поднимаешься, за ним пойдут поля, поля, там вскоре и деревня».

Вот наконец пригорок показался. Старик поднялся на него, и такая даль открылась, что молиться захотелось. Поля притихли, опустели — спят. Все, как у нас, подумал Алексей. Вот так же за полями кое-где желтели рощи, сквозь облетевшую листву проглядывал Амур, а над жнивьем кружили галки. Стоишь, и глаз не оторвать от этой потемневшей грустной дали.

Где-то у кромки поля негромко тарахтел, чихал и кашлял сизым дымом трактор. Зябь пашет, понял Алексей. По скошенной стерне неспешным шагом он выбрел к тому месту, где давно приметил легкий дым костра. Костер почти погас. Старик взял палку, разгреб угли, подкинул хвороста и сел возле огня сушиться.

Трактор вдруг остановился — будто присел на задние огромные колеса. Выскочил из кабины тракторист, подошел к костру.

— Сергей, — протянул он руку старику. — А у меня Алексеем отца звали, он меня немного с фронта не дождался. — Мужик сдернул с головы кепку-восьми-клинку, вытер потное лицо: — Ох, и теплень сегодня!

— Как думаешь, долго простоит тепло? — спросил старик.

— Да хоть неделю простоит, и ладно, — сел он на брезент возле костра, взял котелок. — Чай будешь? А я попою, упарился совсем. Трактор старый: чих-пых — и встал. Обещает МТС дать новую машину, да на них надежда, как на вешний лед. А пока земля после дождей сырая, пахать надо.

— Поля у вас на загляденье, — похвалил старик.

— Земли много, можно борозду гнать хоть на версты. Да все не успеваем засеять — людей в колхозе мало. Нынче посеяли всего гектаров пятьдесят пшеницы, — стал рассказывать Сергей, — тридцать гектаров проса и кое-что по мелочи гектаров двадцать посадили. Сена, правда, взяли хорошо. А прошлый год луга водою затопило, сено все погнило, с зимы коров нечем кормить было.

— Я бы вам вот что присоветовал, — сказал Алексей. — Подзародники* ставить надо, без них на Амуре сена не возьмешь. У нас в деревне всю жизнь на подзародники стоговали сено. Строили из жердей, вроде лабаза... ну, так, на метр над землей, и скирды туда. Того же разу сено на них сохнет! И никакой паводок не достанет — мило дело.

— Не до них, дед, — достал Сергей кисет. — Я ж тебе сказал: рук не хватает. Нас после войны в село вернулось четверо — тут не разорвешься.

Он свернул сигарку, прикурил от уголька и лег. Алексей едва успел в костер подбросить пару веток, обернулся — а он спит. Спит, и в руке дымит сигарка. Старик осторожно вынул у него сигарку, поправил неловко согнутую руку; мужик перевернулся на бок и во сне пробормотал: «Сейчас...»

Алексей только теперь заметил: над полем пролетали журавли. «Что-то припозднились», — подумал он, глядя на птиц. Косяк летел так высоко, что птиц почти не различить, с земли он был похож на кружевную черную косынку. Казалось,

* Подзародники — устройство для просушки сена на покосе (диалект в Забайкалье и Архангельской области).

птицы улетают к югу и на прощание косынок машут полно, костру со спящим рядом человекам, тальнику у берега Амура...

С реки послышались гудки двух встречных пароходов.

— Долго я спал? — вскочил Сергей.

— Да минут пятнадцать-двадцать.

— Вздремнул, и ладно, — натянул он кепку, побежал по полю. — А ты к кому идешь в деревне? — обернулся. — Ни к кому? Ну, заходи тогда к нам в избу: третья от дороги. Скажи, чтоб не теряли там меня.

В село старик добрался в сумерках. В третьей избе от дороги давно готов был ужин — тыквенная каша прела в чугулке. Печь прогорела, но еще теплом дышала, и всюду — на плите, в духовке — сушились, чуть потрескивая, тыквенные семечки. На лавке сидели трое ребятишек в байковых рубашках, щелкали семечки, застенчиво разглядывая гостя. Старик скинул котомку и ергач, с трудом снял вымокшие валенки, поставил их тоже сушиться к печке. Ребятишки зашептались: «Спроси, спроси...» «Нет, ты спроси». Наконец, самый бойкий крикнул:

— Мам, это дедушка из города?

— Пошто из города? — удивился Алексей. — Я из деревни.

— А у тебя тоже котомка!

Жена Сергея Катерина — высокая, еще миловидная и молодая — засмеялась:

— Да это они читают книжку «Девочка из города». Там в войну через село шли беженцы, и одна семья взяла к себе девочку-сиротку, Валентинкой звали. Они на тебя посмотрели и, видно, что-то вспомнили ее.

— Ешь, — поставила она перед стариком тарелку каши. — А у тебя-то есть кто из родных? Или один тоже на белом свете? — И так сердечно посмотрела, что Алексей даже заплакал. — Ну, будет, будет... А вы идите в комнату, — прикрикнула на ребятишек, — нечего взрослых слушать.

Ребятишки убежали, а Алексей все плакал, плакал и не мог остановиться: будто была для слез какая-то запруда, и вдруг ее прорвало. Вроде успокоится, а как посмотрит на половичок, на печку — снова в слезы.

— Будет, будет, — растерянно шептала Катерина. — Горе ты мое! Ну, хочешь, у нас тоже оставайся? Скоро зима — куда теперь пойдешь?

— Что ты, родная, — Алексей даже испугался, — меня дома ждут. Дарья все глаза уж проглядела: подойдет к окошку, в улицу посмотрит — нету... — Старик глянул на окошко. Между двойных рам снежком белела вага, на ней лежали черные угольки и красные кисти рябины. Он опять заплакал. — А то на пристань выйдет пароход встречать. Она-то думает, я приплыву на пароходе, а я пешочком, потихоньку доберусь. Что мне? Я налегке, безо всего...

С ноября ударили морозы, встал Амур, намело сугробов по колено. Алексей теперь не шел, а ехал от села к селу: когда в санях, когда и на машине. Одна беда — оказии ждал долго: дай бог, если раз в неделю кто-то отправится в соседнее село, то и старика с собой прихватит.

Прошло немало дней, прежде чем Алексея подвезли к последнему селу: за ним через семь верст лежала его деревенька. Старик соскочил с саней. Над избами в дальнем краю уже всходила полная луна. Ночь будет светлой, добегу прямо сейчас до дома... Сгоряча он пробежал пол-улицы и остановился: нет, мороз к ночи ударил, здесь заночевать придется. Алексей зашел в первую встречную избу: хозяйка, двое ребятишек, кот у печки...

— Да чем тебя я угошу? — стала хлопотать хозяйка. — Самим есть нечего, картошку наварила, и целый день едим. На, тут немного и тебе осталось, — поставила чугунок на стол.

— Я сам сейчас вас угощу, — засмеялся Алексей. Он взял котомку, вытащил банку тушенки. Ребятишки подошли к столу поближе. — Это мне моряк один на маяке дал. Никогда не видели такой? — поставил Алексей на стол жестяную банку.

— Колька, не тронь! — хлопнула хозяйка сына по руке. — Я ее на праздник спрячу, пусть останется на Новый год.

— А что, уже скоро? — удивился Алексей.

— Скоро, пятнадцатое декабря сегодня.

— Скоро Новый год! — подпрыгнул Колька. — Я буду Дедом Морозом... Дай мне свою шубу, — крикнул Алексею, сдернул с гвоздика ергач, подумал — сдернул и котомку.

Колька юркнул в комнату, следом подхватила младшая сестренка. На дверном проеме висела старенькая ситцевая занавеска, и за ней теперь все ходуном ходило: слышались смех, шепот, беготня... Хозяйка только головой качала:

— Что-нибудь сейчас да отчебучат!

Наконец вышел Дед Мороз в тулупе, в валенках и даже с бородой. На бороду сгодилась пакля, но тулуп — ергач Алексея, вывернутый наизнанку, — был Кольке длинноват, он путался в нем и спотыкался. Колька подхватил клюку у печки и пошел, постукивая ею по темной, чуть освещенной керосинкой кухне:

*Дед Мороз под Новый год
Грозный делает обход,
Чтобы всей фашистской своре
Навсегда исчезнуть вскоре.*

Ну, вылитый Дед Мороз... еще и щеки чем-то натер красным. Борода из пакли сбилась, открыв смеющийся Колькин рот с выпавшим передним зубом.

— А вам Дедушка Мороз принес подарки, — крикнул Колька и встряхнул мешок с подарками, в котором Алексей узнал свою котомку. — Что у нас тут? — пошарил он в котомке и вытащил ракушку. При свете керосинки гостинчик с моря был похож на засыпающий цветок кувшинки. — Ух, ты, красота какая! — замер Колька. — А что у тебя еще есть? — подбежал он к Алексею.

— Да так, гостинчики, — смутился старик. — Смотри, — достал он из котомки суперик, камушек, резную ложку.

— Где ты нашел такой? — взял Колька камушек, залюбовался. — В нем будто светлячки застыли.

— Красивый? — обрадовался Алексей. — А я еще иду, переживаю: нашел, тоже, гостинчик! Что, там своих мало камней?

— Море шумит, — улыбнулся Колька, приложив ракушку к уху. — А давай меняться: ты мне ракушку, а я тебе...

— Да бери так, у меня их две.

— Нет, давай по-честному меняться! Смотри, что у меня есть, — Колька вытащил фанерный ящик. И чего там только ни было: деревянный пистолет, две солдатских пуговицы, леска с рыболовными крючками, осколок красного стекла, войлочный мяч, бумажный кораблик и другая всячина. — Выбирай!

Алексей задумался. Он знал, что его внукам теперь уже под двадцать лет, но для него они остались такими же, как жили в памяти, похожими чем-то на Кольку с его фанерным сундучком, полным всяческих сокровищ.

— Ну, давай кораблик. Косте подарю: будет плавать вокруг света.

Спать Алексея уложили на печи, но среди ночи он проснулся. Сон увидел хороший и проснулся. Ему приснились море, корабли, и синий кит был жив, пускал фонтаны.

Алексей поерзал: что-то мокро... А, это Колька, спавший рядом, видно, подпустил фонтан. Замерз он, что ли? Старик укрыл его плотнее одеялом, начал ждать рассвет. Прошел час, другой, и наконец рассвет нарисовался на окошке. Морозные узоры на окне чуть побледнели, потом заискрилась, вспыхнули ярко-желтым светом, и старик понял: уже всходит солнце. Поднялась хозяйка, затопила печь, наладилась варить картошку. Хлопнула дверь, и зашла соседка:

— Надя, займи спичек, кинулась — все вышли. Ты вчера вечером слышала радио? — взяла соседка коробок.

— Да у меня и радио-то нет. А что передавали?

— Новости большие. Карточки отменили, и реформа деньгам вышла.

Алексей заволновался: значит, правду люди говорили... Он вспомнил парходную соседку: успела Лиза избу-то купить?

— А кто у тебя тут спит на печке? — приподнялась соседка на носки.

— Старик бездомный, странником назвался. Чудной такой: вчера весь вечер с Колькой тут моим играл в бирюльки — чистое дитя. Куда идет, зачем? Бог знает.

На этом повесть странствий Алексея подошла к концу. Вот он идет проселком через поле. Под валенками снег скрипит, позвякивает котелок в котомке... Искрится даль, и все ему знакомо: и одинокая ветла возле дороги, и та ложбинка, где летом Дарья собирала иван-чай, и далекий остров, где сам он косил сено...

Старик поднялся на последний косогор и замер: внизу — в сугробах, в зимней тишине — увидал свое село. Он снял шапку и перекрестился. Вон и изба его, и теплый дым над крышей... и черемуха на месте. Ну, слава богу, все-таки дошел.

Подойду к избе, решил он, постучу в окно, а сам за угол спрячусь. Дарья на крылечко выйдет: кто тут, кто тут? И вдруг, откуда ни возьмись, я нарисуюсь: «Здрасьте вам!»

«Ой, здрастье, здрастье!» — прозвенели колокольцы. Старик прислушался: звенят... Какой-то тихий звон повсюду раздавался: это с деревьев иней осыпался, озябшая трава шуршала, рябиновые гроздья бились на ветру.

Рябина, улыбнулся Алексей. Надо набрать немного ягод, с Дарьей чай пить будем. Он свернул с дороги, попал в сугроб, но быстро выбрался, ухватившись за ветку придорожного куста. И обмер: что же это?

Куст оцетинился большими острыми шипами, и на одном из них висела птица. «Синичка», — ахнул Алексей. Глаза закрыты, перья смерзлись; вдруг дунул ветер — крылья встрепенились, как будто птица вздумала лететь, но только снег посыпался с опавших снова крыльев. «Как же тебя так угораздило?» — Алексей заплакал. «Куда же ты летела, торопилась и со всего размаха, влет, наткнулась на большую острую колючку? Дай я тебя с колючки хоть сниму», — подумал он и осторожно снял стылую птицу с ветки. Поднес ко рту, будто хотел вдохнуть в нее свое тепло, и прошептал тихонько:

— Эх ты, птичка! Птичка Божия...

